



Андрей Всеволодович Остальский
Синдром Л
Серия «Любовь и власть»

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6218823
Остальский А. Синдром Л: Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978-5-699-66553-2

Аннотация

Шпионская сага с крутыми поворотами сюжета? Любовно-психологическая драма? Фантастический роман? Каждое из этих определений подойдет к «Синдрому Л» Андрея Остальского. Но даже все они вместе не передадут главного: перед нами роман-страсть, роман-боль, роман-предупреждение.

Содержание

Глава 1	4
Санёк	4
1	4
2	8
Глава 2	14
Шурочка	14
1	14
2	19
3	22
4	25
5	27
Глава 3	30
С.	30
Глава 4	38
Ш.	38
1	38
2	40
3	43
4	47
5	50
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Андрей Остальский

Синдром Л

*Время мимо нас течет, не задевая нас.
Или это мы вдвоем мимо времени течем,
мимо времени плывем, не открывая глаз...
два светлячка у вселенской тьмы на виду...*

Ирина Богушевская

Глава 1

Санёк

1

В тот темный пятничный вечер сидел я себе мирно на кухне, не подозревая вовсе, какой поворот вот-вот сделает моя жизнь. За окном бесновалась поздняя осень, хлестал дождь, сверкала молния, а в моем доме было тепло и уютно. Я недурно проводил время на моей замечательной квадратной десятиметровой кухне и ловил кайф, попивая душистый испанский херес «Канаста», который подарил мне Витек из Первого главка.

Никаких дежурств в выходные у меня на этот раз не предвиделось, а жена с дочкой гостили у тещи в Житомире. Так что был я в квартире совершенно один, и одиночество открывало всякие дразнящие перспективы. В моем уже слегка раскрепостившемся воображении кружились всякие смутные образы, может быть, даже слегка похожие на Лидку из секретариата. И на секунду стало неважно, что мой никогда не ошибающийся нюх давно уже предупредил меня, что в Лидкину сторону лучше не смотреть никогда, поскольку вращается она на орбитах слишком высоких и страшных. Нюху, объяснял я сам себе, полагается трудиться в рабочее время, а в пятничный вечер надлежит отключиться и подремать, а заодно дать и мне отдохнуть, порезвиться тихонько, хотя бы в мечтах, черт подери.

Лидкиного домашнего телефона я не знал (и слава богу, слава богу! – возликовал не так уж, оказывается, глубоко дремавший нюх), а потому я достал из пиджака записную книжку номер два, которую не то чтобы совсем случайно прихватил в тот вечер с работы.

У меня были две одинаковые замшевые записные книжечки желто-золотистого цвета, которые когда-то привез мне из Стамбула все тот же Витек. Они ничем не отличались друг от друга, только на корешке номера два был едва заметный брак – такая небольшая шероховатость, зазубрина, которую я натренировался узнавать и на глаз, и на ощупь, так что почти никогда блокнотов не путал.

В номере один были записаны телефоны лично-семейные и прикладные (как то: поликлиника, ателье, курортный отдел и пр.), а также и некоторые служебные, но не шибко секретные номера. Телефоны агентуры и все такое прочее по-хорошему полагалось хранить, конечно же, на работе в сейфе, но я, как и все, слегка нарушал, и многие, особенно часто необходимые, размещал в книжечке номер раз. Что же касается номера два, то там под всяческими загадочными псевдонимами и аббревиатурами значились все женщины, которыми я так или иначе в жизни интересовался, с которыми спал или мечтал переспать или просто так хотел помнить на всякий случай. Тут были все: плотненькие и худенькие, высокие и

маленькие, блондинки, брюнетки и шатенки, а также парочка замечательных рыжих, обе, кстати, с несколько обезьяньими мордочками, но все равно – что за прелесть! – с такими невероятно длинными золотистыми от загара ногами (один идиот вычитал в иностранных журналах в спецхране, что якобы с длинноногими кайф не тот – тот, еще какой тот!).

И первая любовь Олечка тоже сюда угодила, и несколько профессионалок, а также немало особо одаренных любительниц, ну и та же Лидочка тоже все-таки была здесь, ее служебный телефон значился под совершенно правдивой рубрикой: секретариат. Что же до остальных, то они в основном фигурировали под псевдонимами, да и те перемежались для конспирации всякими придуманными мужскими именами, иногда довольно смешными. Матвей Абрамович Посвистите, например, или Николай Завсегдай. Я считал себя таким образом надежно застрахованным от всякой случайной или плановой ревизии. Важно было лишь внимательно следить за тем, чтобы в пиджаке всегда находилась только одна из записных книжек, а вторая хранилась бы в сейфе на работе.

Итак, стал я сначала лениво, а потом все более нетерпеливо листать блокнот номер два. Ну, сразу попавшаяся мне на глаза Олечка с ее, если уж быть до конца честным, несколько кривоватыми ножками и влажным взглядом к ситуации не подходила. Валя из Марьиной Рощи? Нет-нет, после она имеет обыкновение ныть и проситься замуж. Рыжая Лена, нет спору, хороша, но будет небось опять крутить динамо. Хорошо бы, конечно, ее и дожать когда-нибудь, но сегодня, в хорошем настрое, после расслабляющей «Канасты», хотелось бы работать на верный результат. Вторая рыжая – Мила, – по некоторым сведениям, недавно снова вышла замуж, не стоит беспокоить молодоженов.

Или вот еще Нинка. Соколова вроде как ее фамилиё. В блокноте записано: Нина С.

Красавица не красавица, но вполне... Подумаешь, глазки маловаты и глубоко посажены... Зато как жарко прижимается, как излучает... Грудей, считай, нет, но волосы густые-густые, хотя и странноватого цвета – бледно-желтые какие-то. Но главное – вид сзади: с ног сбивает и дух захватывает. Вообще-то она мне в наследство от одноклассника Валерки досталась. Валерка говорил: классная совершенно трахалка. Не хочешь взять под свое крыло, так сказать? А то мне поднадоела слегка. За три с половиной года-то. Кто хочешь надоест. А у Валерки к тому ж в это время свадьба-женитьба наметилась, на сторону бегать стало сложнее.

Ну, в общем... Один раз у нас с этой Ниной и было всего, да и то перебрали мы с ней оба в тот вечер, поэтому любовь получилась невнятная. Или вообще не получилась... Можно было бы с ней и вторую попытку совершить, хотя обычно таких баб, с которыми оплошал, стараюсь я избегать...

Но вот беда: телефон Нинкин я в раздражении зачеркнул так жирно, что не разобрать было... Прямо хоть в ножки приятелю Володьке из научно-технического упасть: может, потренируются, расшифруют без особой огласки...

В общем, листал я страницу за страницей и постепенно приходил в отчаяние: полный блокнот баб, а никакого толку. Вот что значит лениться, столько лет пускать дело на самотек, не работать целенаправленно над обновлением содержимого. Положа руку на сердце, кого я добавил сюда за последние три-четыре года, если не считать вышеупомянутую Нинку Соколову? Ну, разве что Маньку-массажистку, которую аккуратно, в рамках отведенного для процедур времени, разрабатывал, то есть кадрил в пансионате «Дубрава», да разве она в счет? Эх, старость – не радость...

И снова листал я страницы блокнота, с некоторым уже чуть ли не остервенением, и ничего подходящего не находил.

Лена Б.? Это какая такая Б.? Не та ли стерва, что в прошлый раз, три, кажется, года назад, врзала мне по голове чем-то деревянным? Ух, не приведи господь!

Машенька С.? Эту помню прекрасно, эта хороша, и лицом и фигурой, хотя и простовата и не сильна насчет поговорить, зато покорна и на все согласна... Набрал я номер Машеньки, но там никто не ответил, может, ее не было дома, а может, и номер-то давно сменился.

Потом позвонил и продавщице Даше, и еще одной Лене, и даже толстозадой Вике, и, конечно, Жене Марковой, очаровательной, тоненькой, как статуэточка, с бархатными глазами. О Женечка, Женя, где же ты? «Кто ее спрашивает?» – гаркнул низкий мужской голос, и я бросил трубку.

А Вика оказалась дома, и никакой мужской голос не препятствовал нашему разговору, но Вика реагировала на мое предложение «взять и подъехать» без всякого энтузиазма. «Я на седьмом месяце, Саша», – вздохнув, сказала она. Э-эх!..

Совсем уже было я отчаялся и стал склоняться к «испанскому варианту» – то есть к тому, чтобы прикончить 0,7-литровую «Канасту», предполагая, что под конец женский вопрос сам собою утратит актуальность, примет форму снов и ночных поллюций.

И тут... как вспомню, так до сих пор дух захватывает и хочется вздеть руки к небесам, в самом почти конце замшевой моей книжечки, после буквы Р, и после буквы С, и после Т, У, Ф и Х, набрел я вдруг на страницу буквы Ц, где было всего две записи – Леша Цыганков, а под ним очень небрежно, видно второпях, записано: Шурочка Ц. Ну, Лешка – это, понятно, мой приятель по вышке, ныне сидящий высоко «под крышей» Союза журналистов. Благодаря ему, в частности, для меня в Домжуре всегда находится столик. Но Шурочка, черт ее дери, кто вообще такая? Я даже от напряжения вскочил на ноги и стал бегать по кухне, пытаюсь выжать из своих мозгов хоть тень воспоминания. Но, хоть убей, ни шиша не получалось.

Боже мой, какой позор для профессионала! «Ну и поплохел же я!» – ругал я себя презрительно. Не звонить же на самом-то деле наобум, ведь это и неприятностями может кончиться. Ладно еще, если какая-нибудь там родственница или приятельница жены. (Хотя тоже не оберешься.) А если, не дай бог, агентша, а? Нет, до такого я вроде еще не дошел, чтобы агентш забывать. Крутить с ними шуры-муры, естественно, серьезный должностной проступок (хотя с кем не бывает, и не пойман, естественно, не вор). Но забыть или перепутать с кем-то – куда хуже, это уже полная профнепригодность...

Так думал я, пытаюсь себя разозлить, завести, подначить, надеюсь, что проклятая Шурочка выплывет наконец из глубин подсознания и напомнит мне факты своей биографии. В какой-то момент показалось, что уже ухватил ее за рукав, уже увидел нечто, похожее на лицо, но потом опять – срыв и отчаяние. Вот ведь чертова кукла!

В общем, взял я, шарахнул еще бокал испанского зелья, покрутил головой и набрал номер.

– Алло? – Голос был совершенно незнакомый, но такой... обалденный. Как будто ручеек журчит. Нет, гораздо лучше, нежный, но глубокий и слегка хриплый, терпкий, что ли, если такое можно сказать о голосе. Таких голосов вообще не бывает на свете!

– Алло, алло, Шура....

– Алло, кто это? Алло?

– Вы меня не узнаете? – сказал я (это такой прием умный: вдруг, думаю, сейчас все и объяснится).

– Не-ет... Меня Шурой никто не называет... Хотя... Ой! Если только... Николай, это вы? – неуверенно сказала она.

Была не была, думаю, соглашусь на Николая, тоже хорошее имя, русское, мать меня, кстати, чуть было Колей не назвала, в честь покойного дяди, но потом отец чего-то заартачился. Словом, решил я, буду Николаем. Хотя, с другой стороны, вдруг все-таки агентша или родственница – скандалу не оберешься. И вообще, что это я так рисковать решил, чего ради? Может, у нее только голос красивый... А в остальном – крокодил какой-нибудь африканский... Но какая-то сила уже несла меня, и с ней я никак не мог совладать.

– Да-да, это я, я, Николай! Ты же узнаешь меня, правда?

– Кажется... – неуверенно сказала она.

– Ну, Николай же это, ха-ха... Послушай, я сейчас к тебе приеду, а?

– Прямо сейчас? – Она почему-то засмеялась.

– Ну, понимаешь, такое дело... В общем, нам нужно... мне нужно обязательно, просто абсолютно необходимо тебя увидеть!

– Но... что-нибудь случилось?

– Случилось, но это не телефонный разговор... —

На другом конце помолчали.

– Серьезно?

– Куда уж серьезней...

Нет, ну какой голос все-таки нежный, и какая, видно, жалостливая, не злая бабенка, неужели такие не перевелись еще?..

– Но ко мне... ко мне приехать сейчас никак нельзя... Хочешь, я... Хотите, я сейчас приеду к вам? Но только если это действительно... Это правда совершенно срочно?

– Клянусь, срочнее не бывает! (Потом выкручусь, придумаю что-нибудь, сейчас лишь бы уговорить.)

Телефонная трубка так долго молчала, что я на секунду подумал, будто нас разъединили, но тут волшебный голос очень тихо и почему-то грустно прожурчал:

– Ну ладно, попробую... Хорошо бы такси найти...

Ух и засуетился же я! Забегал по квартире как угорелый, как ошпаренный. Хорошо помню, как мыл посуду, вытирал пыль, застилал постели. Помню, как волновался, словно влюбленный семиклассник, как ждал звонка, как кинулся открывать, даже как дверь распахивал, помню, но вот что увидел за дверью... Вроде бы стояла в проеме девушка неслыханной, обалденной красоты, но описать бы я ее не смог.

А дальше – глубокий, сплошной, черный провал.

...Очнулся я на диване в гостиной темной ночью. Голова болела нестерпимо, и ощущение во рту было непередаваемым.

«Опять, – подумал я, – жена из спальни выставила». Но уже через секунду вспомнил, что жена с дочкой в Житомире. Я вскочил как ужаленный, ногой с трудом нашарил кнопку торшера на полу. При свете в комнате вроде бы все было как обычно. Правда, одежда моя оказалась свалена в углу, а на журнальном столике стояла пустая бутылка из-под «Канасты» и почти пустая – из-под десятилетнего «Отборного», которую я берег для особого случая. Еще на столике – две винные рюмки, одна не использованная, вторая – отдающая коньяком, видно, моя.

«И чего это я так уж сурово-то, а?» – вяло прошуршало в голове. Посмотрел на всякий случай в спальне – никого нет, кровать застелена, видно, не тронута...

Но самое ужасное – я чувствовал в себе такую тоску невозможную, невыносимую, какой никогда не знал. Не скуку, не томление, а именно тоску. «Похмелье такое, что ли, особенное?» – спрашивал я сам себя.

Улегся опять на диван, лежал долго с закрытыми глазами, боролся с приступами тошноты, заснуть не мог. Потом повернулся на левый бок и вдруг вспомнил галлюцинацию про Шурочку Ц. Сказал вслух: «Нельзя все-таки так пить, умрешь». Потом вскочил с дивана, нащупал в пиджаке замшевую записную книжечку желтого цвета, полистал. Страница с буквой Ц была выдрана с корнем!

2

В воскресенье я посещал мать. Но до воскресенья была суббота. Что в субботу-то было? Кажется, весь день я держался хорошо, дотерпел до обеда и выпил только две завалившиеся бутылки «Жигулевского». Смотрел хоккей по телевизору, как наши продували финнам.

Ночь на воскресенье опять спал плохо, мучили меня странные сны на женские темы. Одинаковые кукольные лица заглядывали через окно в кухню, смотрели напряженно, как я пью «Канасту», а я притворялся, будто не замечаю их, но, чтобы отстали, делал вид, что звоню по телефону, кричал в трубку: «Юлечка, Юля, говори громче, я не слышу!» И лица исчезали, но потом прямо в кухне материализовалась какая-то женщина, возможно Шурочка Ц., однако лица ее я опять разглядеть не мог, как ни старался. Тут я, кажется, решил схитрить и сказал: «Можно я тебя помою?» Она засмушалась, спросила, не поворачиваясь ко мне: «Зачем? Это ведь неприлично?» – «Прошу тебя, ну что тебе стоит», – уговаривал я. Женщина смотрела в стену, качала головой, но потом все-таки пошла в ванную. Там она разделась, но осталась в купальнике. Зря, сказал я, ничего такого... Но она только снова качала головой: нет. Я долго и тщательно тер ее губкой, поливал из лейки, нет-нет да трогал пальцами, будто случайно, шелковую смуглую кожу, но повернуть ее к себе лицом так и не успел, потому что в ванную вошла моя дочка, вместе с ней был какой-то мальчик, может быть Шурочкин сын. Они молча уставились на нас, но мы делали вид, что все нормально, что так и надо, чтобы я мыл эту женщину, должен же ее кто-нибудь мыть?

Я проснулся, понял с облегчением, что это был сон, и тут же опять заснул, вроде бы теперь без сновидений. К утру я был почти в норме, но сразу же, еще лежа в постели, как только повернулся на левый бок, вспомнил, что обещал матери прийти на обед и что сестра Люся с мужем тоже, кажется, будут.

Ох, скажу я вам, и не люблю же я этих семейных сборов! Ох и не люблю же я зятя Мишку! Даже шурина Серега из Житомира, тот, который все время чешется, и то нравится мне больше. А этот – зануда, наглец, моралист хренов... Серега хоть и почесывается, но старается делать это как можно незаметнее, деликатнее, как бы невзначай, по ходу всяких других дел, потом в глаза заглядывает виновато, в общем, тоже не велика радость, но все-таки этого можно и потерпеть немного с его чесоткой. А после пяти минут общения с чистеньким доктором Мишкой мне уже сильно хочется в туалет.

Ну, в общем... Тащился я к матери через всю Москву на общественном транспорте и думал: хоть бы Мишка не пришел. В крайнем случае пусть Люська одна. Тоже, конечно, зануда, нахваталась от своего благоверного, но все же не та квалификация. Но нет ведь, не везет, так не везет: я пришел, а они оба уже сидят с постными рожами. Мишка даром что врач, а похож на приказчика из фильмов по Горькому или по Чехову. Не то чтобы пробор прямой, нет, пострижен под нормальную скобочку, но что-то такое в выражении лица и глаз отвратительно прилизанное и в то же время тайно высокомерное. И, представьте себе, может сидеть за столом часами абсолютно неподвижно, как йог. Нормальный человек уже весь изъелозился бы, извертелся, десять раз уже вскочил, размял бы ноги, а этот нет, просто истукан какой-то каменный, сидит, смотрит прямо перед собой, и взгляд при этом ничегошеньки не выражает. Разве что презрение к окружающим.

Ну, как, скажите, это можно выносить, а? Я, конечно, начинаю нервничать, фиглярничать, Мишка этим пользуется, демонстрируя всяческое ко мне отвращение, а я сержусь еще больше и выгляжу, надо думать, полным идиотом.

Вот и на этот раз Мишка упорно молчал, а я должен был что-то говорить, говорить, рассказывать всякую чушь. И сам не заметил, как съехал на особенности наружного наблюдения в современном большом городе.

«Все зависит от двух вещей: во-первых, имеете ли вы дело с опытным профессионалом, и, во-вторых, насколько острую операцию он проводит. Если это истинный профи и если речь идет о настоящей «мокрухе», то нельзя позволить ему увидеть одно и то же лицо или машину даже два раза. Теоретически, он будет ждать третьего раза, иначе будет считать факт слежки не установленным. Но и второго раза может оказаться достаточно, чтобы на «мокруху» он не пошел. Хотя всякое бывает.

Когда я сам еще работал в «семерке», один натовец привел нас прямо к закладке, хотя у нас из-за всяких поломок осталась всего одна машина. И как мог он нас не углядеть, не представляю. Мы просто перли себе за ним внаглую, и все. А что нам оставалось? В таких случаях не до жиру, лишь бы не дать объекту разгуляться. Нужно в крайнем случае хотя бы заставить его отложить острые оперативные действия. Конечно, может оказаться, что происходит лишь установка, и тогда своими действиями вы противника только спугнете, а то и вообще выведете его из игры.

– Что значит выведете из игры? – вдруг спросила Люська, но тут же утратила к беседе всякий интерес и стала что-то свое, параллельное, нашептывать матери на ухо. Мать рассердилась на нее, сделала страшные глаза: слушай, мол, брата, но что ей до брата, Люське-то, если ей хочется посплетничать, про соседку Галю, например, и про ее очередного хахалю. Соседка Галя, кстати, такая, что и я бы совсем не прочь про нее чуть-чуть посплетничать, но, увы, здесь у меня другая роль.

– Вывести из игры – это значит вывести из поля нашего зрения, то есть отозвать домой под каким-нибудь предлогом и потом направить на работу, например, преподавательскую. Или через некоторое время объект появится под другим именем и со слегка измененной внешностью в Латинской Америке. Так что спугнуть – это плохое решение. Но иногда выбирать не приходится. А бывают в нашей профессии чудеса и необъяснимые. Когда этого англичанина взяли – кстати, я не должен был бы, строго говоря, называть его национальностью, ну да ладно уж, только не цитируйте меня, так вот, когда его взяли, я даже специально просил, чтобы у него выяснили на допросе, как такое могло случиться. Он что, вообще не проверялся, что ли? Так представьте себе...»

Я так увлекся, что почти забыл, в каком обществе нахожусь. Но тут заметил, что Люська совсем не слушает, мать пытается слушать сквозь ее шепот, но в любом случае ничего не понимает, наконец я поймал издевательски злобный взгляд Мишеля и поперхнулся.

«Ну и черт с вами со всеми, будем молчать, если вам так больше нравится, – подумал я. – Вам же хуже, вот и не узнаете теперь, чем история кончилась».

Помолчали. Мать, бедная, растерянно смотрела на меня, ожидая продолжения, хотя для нее это, конечно, был так, набор бессмысленных звуков, ну говорит что-то сынок, и хорошо...

Так, ладно, сынок молчать будет.

– Мам, – сказала Люська, – ты мне синих ниток после обеда не посмотришь? А то я Мишин блейзер никак не подошью.

Мать засуетилась, выскочила из-за стола, стала искать нитки.

– Да что ты, мама, после обеда посмотрели бы, поешь, – залепетала Люська.

– Ничего, ничего, – бормотала мать, продолжая поиски.

Но синие нитки не находились. Люська отправилась помогать. Мы остались за столом вдвоем с Мишкой.

– Налить еще? – спросил я, берясь за бутылку.

- Ты, видать, сильно гордишься своим местом работы, – сказал Мишка.
- Ничего я не горжусь, просто хотел вам рассказать...
- Почему ты думаешь, что нам это все интересно? – спросил Мишка.
- Ребята, не ссорьтесь! – закричала Люська из-за шкафа.

Хотел я тут плюнуть Мишке в глаза, но воздержался. Налил себе рюмку до краев, выпил залпом, поставил на стол со стуком – чуть не разбил – и стал смотреть Мишеньке в его бесстыжие. Так просидели мы молча несколько минут поиграли в гляделки, но потом я, понятное дело, не выдержал, разве же этого гада в такую игру переиграешь? Профессiona-ал! Как только мать вернулась, я сказал:

- Пора мне, мать. Завтра вставать рано, и день тяжелый.
- Что ты, что ты, сынок, побудь еще маленько!

Вижу, у матери из глаз чуть ли не слезы льются. Посмотрел, какая стала она маленькая и сгорбленная, представил, как готовила свои салаты и пирожки пекла, без сил падая... Решил, ладно, потерплю ради матери. Но продержался до конца еле-еле, молчал уже, ничего не рассказывал, отвечал на вопросы односложно, а Мишку и вовсе игнорировал. Мишке под конец тоже надоело все это, и он резко засобирился домой. Люська поцеловала меня в щеку, вернее клюнула для проформы и бросилась за своим благоверным.

Но когда они ушли, мать утащила грязные тарелки в кухню, а я устроился на диване в ожидании обычной порции озабоченных расспросов о здоровье, ссорах с Танькой (и, конечно же, «не много ли ты в последнее время пьешь, Сашенька?») или, может быть, для начала: «Не обижайся ты, Саш, на ребят». И вот тут-то мать меня и удивила. Она уселась за стол напротив меня, опустила глаза и тихонько, но отчетливо сказала:

– Саша, прости меня, но я хочу попросить тебя об одной вещи. Ты только не сердись, ладно? Мне очень надо, чтобы ты помог одному человеку.

Я даже рот разинул.

– Помог? В каком смысле помог?

– А по твоей работе, Саша.

– По моей работе? Да ты понимаешь, мать, что говоришь? Я ведь, мать, не доктор, и не учитель, и не сантехник, и даже не районный начальник, я, мать...

– Знаю, знаю, только вот человек больно хороший. Вернее, родители у него такие люди... Я столько лет с ними знакома, и ничего, кроме добра, не видела, прошу, помоги, посоветуй, ну что тебе стоит?

Ну, в общем, мать у меня женщина робкая, безответная, но раз в сто лет на нее находит, и тогда сам черт ее не остановит: все равно добьется своего. Так что плюнул я, сказал, давай, веди своего проблемного.

Мать радостно закивала головой и побежала в соседнюю квартиру, откуда минут через десять притащила за руку белобрысого подростка. Судя по его красному лицу и бегающим глазкам, он сам-то не очень был готов к разговору. Видно, родители его заставили.

Когда мать вышла, я, как учили, начал с идентификации. Установил: зовут молодого человека Сережей, а лет ему четырнадцать. Школьник. Школьник, а туда же.

Если верить его показаниям, выяснилась следующая картина: в незнакомой компании он познакомился с юношей более зрелого возраста, который «сильно выпендривался» перед девчонками из Сережиного класса, хвастался, что водится с диссидентами, ругал правительство, говорил: нет у нас свободы слова. Юноша, кстати, был вдобавок «еврей противный» и так задавался, что просто было невозможно терпеть. Вот Сережа рассказал об этом безобразном случае своему приятелю, отец которого «работает там же, где и вы».

– Но ты же знал об этом, знал ведь, где папа твоего друга работает, так что понимал, что делаешь?

– Да, но...

– Никаких «но»! Ты уже взрослый и прекрасно предвидел последствия своих действий. В некоторых странах в твоём возрасте уже расстреливают. (Эко я хватил, думаю, теперь совсем расклеится.) Ну да ладно, нечего реветь, давай рассказывай, что было.

– Нет, я не знал, не знал. Вдруг через два дня меня вызвали к директору. Директриса перепуганная, убежала, даже посмотреть на меня боялась. А в её кабинете сидят два здоровенных мужика. Говорят, спасибо за очень ценное сообщение. Ты – настоящий патриот, каких мало. Но теперь тебе придется помочь нам искоренить эту заразу. Я говорю: я не могу, я не справлюсь, я не шпион. Они говорят, ничего мы тебя научим. И вообще, ты на чьей стороне? Если на вражеской, то о'кей, мы тебя во враги запишем. Навсегда, типа того.

– Ладно, не привирай, – говорю, – не могли они так примитивно разговаривать.

– Нет, это я в сокращенном виде. Разговор ведь минут сорок длился. Родители говорят, все, не видать тебе теперь твоего авиационного, и никакого другого вуза тоже не видать, и в Москве, наверно, не удастся зацепиться, какой же ты дурак, что влип в такую историю.

– Ты дурак потому, что родителям рассказал. Небось ведь предупреждали тебя дяденьки: никому ни слова, даже родителям, а то... Ну что молчишь, ведь предупреждали?

– Да... Но я не мог, мне надо было рассказать кому-то...

– Ладно, не реви, стыдно в этом возрасте... Они хоть сказали, из какого управления? А может, из райотдела?

– Не-а... Директриса сказала: из Чека. И мне знаете, дядя Саша, что особенно обидно? Что Леху, моего приятеля, хотят чистеньким оставить, он-то не должен сотрудничать, его, говорит, потом отец будет в разведку толкать, а там стукачей не любят...

– Фу, какие слова, откуда ты их набрался только? Забудь раз и навсегда! Обещаешь? Ну ладно, слушай, так и быть, научу тебя, как себя вести.

... Приехал я в тот день домой от матери какой-то совершенно опустошенный. На душе было небывало гадко – не досадно, не обидно, не больно, а именно пусто. В жизни не было никакого смысла – вообще никакого.

Сел на диван, посидел, посмотрел в стенку. Потом встал, пошел к письменному столу, пошарил в ящиках, нашел прошлогоднюю пачку «Явы» – во сколько я уже не курил-то, оказывается! – сел в кресло, зажег сигарету и затянулся. Вкус у сигареты был отвратительный, она вся пропахла чем-то вроде клея, что ли. Но я терпел и курил. Потом вдруг как обожгло: вспомнил, что я наговорил этому материному юному раздолбаю. Стал я даже смеяться и больно щелкать себя в нос и в лоб. Это зачем, спрашивается, я свою голову на плаху положил, а? Ну, пьяный был порядком, ну так и что, в первый раз, что ли? Раньше за мной такого не замечалось, я в любом состоянии соображал, что делаю. И вот, пожалуйста, помню все до единого слова, между прочим. Дословно, как я служебную тайну выдавал, обучал этого обормота паршивого, как моих же коллег и товарищей обманывать. Зачем? Крыша поехала, да? Ведь он, паразит, теперь меня заложит, непременно заложит, как только возьмут его слегка на пушку, так он сразу наделает в штаны и все выпалит.

А сказал я пацану буквально следующее:

«Вот что, парень, не знаю, почему, но настроение у меня сегодня жалостливое, и мать уж очень за тебя просит, так я научу тебя, как с крючка сорваться. Но поклянись сначала, что ни сном ни духом, никому и никогда, ни родителям, ни другу закадычному (тем более ты же теперь убедился насчет лучших друзей-то). Так вот, клянись – не скажешь, что это я тебя научил. Потому что, если про это узнают, у меня будут неприятности, может, очередного звания буду ждать в два раза дольше. Но тебя – тебя я тогда просто урою или зарую, как там у вас говорят. Закопаю тебя в лагерь, да такой, из какого живьем не выйдут. И я не шучу, понял?»

Ну, в общем... Стал тут пацан страшно плакать и божиться, и клясться, и чуть ли не ноги мне целовать. Короче, я ему и объяснил.

Что нужно ему рассказать о произошедшем двум-трем ключевым людям – ну там председателю профкома какому-нибудь, а также директрисе и классному руководителю, а еще паре товарищей из класса. Рассказать надо всем по-разному. Старшим – так же, как мне: дескать, не знаю, что делать, страшно, боюсь я, не могу, по ночам не сплю, плачу. Сделай страшные глаза, скажи: даже в постель мочусь. Вот эта деталь особенно должна подействовать, так ты на нее особенно напирай. Я, говори, очень даже как горжусь доверием, но боюсь не справиться и хочу посоветоваться с вами, как быть. Директриса и прочие будут очень пугаться, отворачиваться, говорить: не надо со мной эту тему обсуждать и так далее. Но ты стой на своем, плачь как следует, реви во все горло. И про ночные проблемы... Что, стыдно будет такое про себя выдумывать? Ну так ты уж, голубчик, реши для себя, чего ты хочешь. За все ведь надо цену свою заплатить. С товарищами полегче: кому намекни, кому похвастайся, напридумывай чуши, что ты уже чуть ли не полковник. Возьми со всех страшную клятву, чтобы молчали.

Тут Сергей опять расплакался и говорит: ну вот, так меня в стукачи и запишут.

Кто запишет, а кто и нет, говорю я. Большинство толком ничего не поймет. Те, кто что-то прослышит, бояться будут – на всякий случай. Но главное, пойми, это – единственный шанс тебе оторваться, пока не поздно. И будешь свободным от наших дел, а при некотором везении, может, и навсегда. Сделать все это надо быстро – за день или за два. А через недельку расскажи дядям из нашей конторы – покаяйся, скажи, виноват, но вот не умею язык за зубами держать. Разболтал. От страха, скажи, разболтал.

– Так они же меня и зарюют за это.

– Не зарюют. Ругать будут, но ты молчи, а лучше всего реви, ты этим методом владеешь. И опять о том, как в кровать мочишься... Если все сделаешь точно, как учу, они тебя железно оставят в покое. В деле твоём напишут: для использования не годится, слабонервный и болтун. А дядям тем крепко врежет начальство, если прослышит. Несовершеннолетние агентами ведь быть не могут, и даже подписку давать не имеют права. С них можно только снять показания. А давать агентурные задания им нельзя. Официально. Неофициально многие этим занимаются, но признаваться начальству никто не станет. Мстить они тебе тоже не будут, дался ты им, чтобы с тобой связываться? Ну, в крайнем случае, в авиационный могут действительно не взять, хотя сомневаюсь, что даже и такие последствия будут. На всякий случай подавай лучше в автодорожный или строительный. Но зато – свобода, представляешь?

Долго сидел я в темноте и смаковал каждое свое предательское слово (как больной зуб языком бередить) да щелкал себя больно по различным частям тела. Ну и, естественно, вспоминал про Старкова, как я жестоко на нем накололся. И если бы не Михалыч, то мог вообще из органов вылететь. Но Михалыч прикрыл.

Ведь почему я так уверенно давал юному фраеру советы, так это потому, что сам через все это прошел. Подростки – народ, конечно, нервный и ненадежный, но при некоторых обстоятельствах эти же качества могут и плюсом оказаться.

Старкова я вербанул, когда ему еще только тринадцать стукнуло. Но он до того мне полезен показался, что я решил позабыть все инструкции. Был он как-никак родным племянником очень достойного объекта разработки. А подобраться ближе к тому объекту коллегам никак не удавалось. Если бы дело выгорело, все мне, глядишь, простилось бы, и даже следующую звездочку можно было бы обрести досрочно. То есть, я думаю, запросто. Но ни хрена, облом полный вышел. Не потому, что Старков работать не хотел, наоборот, я его так мощно промотивировал, что он перестарался, юное дарование. Его только поначалу пострадать пришлось самую малость, а потом дело пошло. Ух, помню, каким соловьем я перед ним

разливался, какие байки про разведчиков-нелегалов заливал и какие романы пересказывал. У парня глазки стали блестеть, он ко мне на конспираловки, как на свидания, бегать стал. Совсем я его загипнотизировал. Ну и вышел перебор. Украл Старков бумажки со стола у дяди по собственной инициативе и попался. От дома ему отказали. Отец взял его за грудки, надавил, и тот раскололся. Я знал, что начальство все равно узнает обо всем из прослушки, и потому пошел сам каяться. Ух и влетело же мне!

...Ругал страшно, но уволить не дал. И под самый конец только, после того, как исхле-стал звонким матом, прибил к стулу зычным ором, искромсал своими страшными глази-щами, потом только, помолчав, вдруг сказал тихо-тихо, так, что я потом думал: в самом деле было или слышалось?

То ли сказал, то ли промычал-прошептал тогда Михалыч: «Бить тебя надо долго и больно, но не насмерть. Насмерть я бью предателей, лентяев и блатных. А тех, кто для дела старается, я всегда прикрою. Но если ты, козел, еще раз попадешься, нас обоих выгонят». И пошел опять во весь голос – матюгами, но мне уже не было страшно. Наоборот, сладкое блаженство разлилось по всему телу, и захотелось стать на колени перед Михалычем и пре-данно, как собака, смотреть ему в глаза.

Ну, в общем... Отделался я в тот раз выговором, который через год сняли. А теперь что мне будет? Михалыч, надо думать, уже не заступится. Я ему в этой истории совсем не понравлюсь. Да разве я и сам-то себе нравлюсь? Разве я сам на себя похож?

Поплелся я тут к зеркалу и стал рассматривать свою помятую физиономию, и стало мне даже мерещиться в полумраке, что в ней действительно заметны странные перемены. Нет, что-то со мной стало происходить не то – предавался я печальным размышлениям, – да-да, с той самой первой встречи с этой Шурочкой, как-то крыша моя поехала. Может, это такая оригинальная форма проявления пресловутого кризиса среднего возраста? Все дело в бабах, так учил Фрейд. «С бабами надо завязывать, ограничиться оказанием чести супруге по выходным, плюс онанизм еще пару раз в неделю. В баню надо ходить, в бассейн. Пить надо меньше. Но прежде всего надо покончить с этой непонятной Шурочкой, про которую не известно ничего – даже трахаю я ее, собственно, или нет», – так я размышлял примерно, пока вдруг не раздался звонок.

...Да, именно до тех пор, пока не зазвонил телефон. А вот когда он зазвонил, я почему-то враз забыл все свои праведные намерения, и сердце мое словно остановилось, потом опять забилося, и бросился я к трубке, уже точно почему-то зная, что услышу дивный, ни на что не похожий хриплый голосок.

– Коля, Коля, мне так нужно тебя увидеть, – говорила Шурочка, а внутри у меня летали бабочки и пели птицы.

Но вот фокус: глубокой ночью я снова проснулся у себя дома на диване и опять совершенно ничего не мог вспомнить. Впрочем, что там особенно вспоминать было, ясное дело: нализался снова до чертиков и, как в таких случаях обычно бывает, даже снов своих пьяных не запомнил. Э-эх!

Глава 2

Шурочка

1

Наповал!

А ведь я сомневалась. Думала – ничего такого не выйдет.

В гостиной у нас висит большое орнаментальное зеркало, купленное Фазером в досто-славные времена. Во времена античности, когда антиквариата было полно и он терпимо стоил.

Сначала я разглядываю богатую рамку с темно-золотыми стеблями и цветами. Потом позволяю себе взглянуть на отражение.

Это всегда нервный, жутковатый момент, с которого начинается каждый день. Что, если снова увижу в зеркале нелепую дурнушку? Страшно...

Но нет. Слава богу, все в порядке. Как удивительно я изменилась с тех пор... С той волшебной минуты, когда Фазер звонко щелкнул пальцами и жестом фокусника вытащил из портфеля пузатый флакон бордового стекла с написанными на нем выпуклыми золотыми буквами: «O-Morfia».

Откуда он взял его? Не знаю, он не признается, только отшучивается. Может, друзья иностранные привезли из-за бугра такую диковину – в те достопамятные времена, когда ему еще дозволено было с иностранцами общаться. Ну, или второй вариант: неофициальная разработка какой-нибудь отечественной шарашки. Результат не доведенного до конца экспери-мента, полузапретный плод на полпути остановленного проекта – в то время таких полно было. Фазер разрывался на части, пытался спасти лаборатории и институты, но их захо-пывали один за другим.

Откуда бы он ни взялся, это был неприятный препарат: бурая жирная мазь, от кото-рой шел резкий запах, будто тухлое яйцо в керосине вымочили. При флаконе имелась коро-тая инструкция на сомнительном английском, точно иностранец переводил. С китайского, например, ну, или с русского.

И еще прилагались к снадобью крохотный темно-зеленый тюбик с белым кремом, а также пластиковая коробочка – в тон флакону. А в ней – канареечно-желтые пилюли. Согласно инструкции, принимать их надо было два раза в день. От пилюль пропал аппетит и постоянно подташнивало. Но это еще что... Самой паршивой была процедура употреб-ления самой мази. Ее следовало растворять в крутом кипятке и густым слоем наносить на волосы. Потом подождать, пока смесь застынет, а затем энергично втереть в корни волос... Важно было не проворонить момент и не дать мази слишком затвердеть. Застывшая, она делалась похожей на глину, и вымыть ее из волос было очень трудно.

Видя мои мучения, Фазер поморщился:

– Брось ты эту гадость! Я был не прав, принеся тебе это, извини дурака. Уговорил один тип...

Любящие отцовские глаза не замечали ни лишнего веса, ни прыщиков на щечках. Он искренне считал меня хорошенькой. И разубедить его было невозможно.

Мама была более объективной. Пока была жива, таскала меня по врачам, эндокриноло-гам и кожникам, те выписывали лекарства, таблетки и кремы, но ничего не помогало. Исче-

зал один прыщик, появлялся другой. Я сбрасывала пару килограммов, чтобы тут же набрать три новых.

Настал момент, и я сдалась. Смирилась. Подумала: а, и так сойдет. И мама сдалась тоже. Утешала меня:

– Ничего, и таких мужики любят... Особенно восточные.

– Не хочу восточных, – отвечала я. – Вообще никаких не хочу. Отлично проживу и так. Такая, какая есть. Зачем корежиться? Чтобы угодить похотливым волосатикам?

– Фу, – говорила мама, – зачем ты так... неизящно...

– А тебе все изящность подавай, – злилась я.

– У тебя глаза очень красивые, – некстати влезал Фазер.

– Только маловаты – из-за того, что щеки толстые, – отвечала я дерзко. – И вообще, сколько можно... Закрыли тему!

Я резко вставала, уходила к себе в комнату, хлопала дверью, запиралась.

Да, были же смешные времена. Другая эпоха. С тех пор все перевернулось. Мама умерла, и много случилось такого, что от меня прежней почти ничегошеньки не осталось, разве что оболочка. Да и та...

Забавно, что мама оказалась во всем права – и в отношении восточных мужчин, и не только.

Но теперь, после всего произошедшего, стало мне на мою оболочку почти наплевать. Толстая, худая, да какая разница... Станным образом именно равнодушие и помогало мне упорно и невозмутимо изо дня в день, четыре недели подряд втирать себе в голову эту гадость. Как бы ставя забавный эксперимент, не слишком беспокоясь о результате. Даже предупреждение о возможных осложнениях не могло меня по-настоящему испугать. Ну, выпадут волосы, неприятно, конечно, но не так чтобы уж очень их жаль будет. Они у меня, если честно признаться, от природы неважнецкие... Хоть и густые, но неудачного мышинового цвета, прямые, будто нити вытянутые. Какую прическу из них соорудить, непонятно. А без них можно будет подобрать какой-нибудь красивый парик.

– Достанешь, если что? – спросила я Фазера, и он глаза выпучил, перепугался, закричал:

– Господь с тобой совсем, брось ты эту дрянь, я тебя прошу!

Ну уж нет, решила я, доведу дело до конца, а там будь что будет. Это ведь не простой краситель, а эндогенный. Он, по идее, должен – в случае негарантированного успеха – навсегда поменять не только цвет волос, но и их фактуру. Потому что луковицы каким-то образом оказываются перепрограммированы. Однако, предупреждает инструкция, не в каждом случае это срабатывает. Есть серьезные риски, в том числе и лысой остаться можно. И еще мультон возможных осложнений. Например, резкие колебания веса. В инструкции написано – применять строго под контролем врача. Но где мне было взять такого специалиста? Пришлось сражаться с «О-Морфией» в одиночку.

Где-то на десятый день цвет волос стал заметно меняться, причем в худшую сторону. Они становились какими-то странно белесыми. Фазер смотрел на меня в ужасе. Бормотал что-то себе под нос. Кажется: «Свят, свят, свят...» А я только улыбалась ему ободряюще.

Через четыре недели ежедневных пыток я, точно в соответствии с инструкцией, тщательно промыла волосы теплой дистиллированной водой и втерла в кожу пару столовых ложек оливкового масла. Потом, выждав полтора часа, сделала компресс из крема, содержащегося в маленьком зеленом тюбике. Компресс нельзя было снимать с головы сорок восемь часов, и все это время я ощущала неприятное жжение. Настолько сильное, что две ночи почти не спала. Не спал и Фазер, нервничал.

А потом настало наконец то утро, когда надо было снимать косынку...

Равнодушие равнодушием, но все-таки жутковато было.

Сколько уже времени прошло, а мне ночами до сих пор еще снится, будто сдираю я с головы компресс этот вонючий, и толком ничего не разглядеть, успеваю понять только, что там нечто уродливое, кошмарное, противное... просыпаюсь с чувством отвращения к своей голове, своему лицу. Вообще к себе.

Но наяву под косынкой обнаружились явственно светлые волосы. Когда же я их два раза вымыла шампунем да высушила, то оказалась яркой золотой блондинкой. Волосы шелковистые, естественным образом вьющиеся, волнистые. Под стать какой-нибудь кинозвезде. Даже неприлично!

Смотрела я в зеркало и глазам своим не верила. И странная мысль откуда-то пришла: «Это нечестно!»

Будто чужое что-то ворует. Но потом я себя быстренько успокоила: «Ну почему уж так? А та, кому это просто так, за здорово живешь, от родителей досталось, она что, такое везение больше моего заслужила? Я-то хоть мучилась без малого месяц, рисковала... и кстати, еще неизвестно, чем все окончится, не будет ли каких-нибудь ужасных последствий для организма... И потом, почему это непременно чужое? Может, наоборот, это – мое, истинное, мне органично свойственное, извлеченное с помощью гормонов или чего там еще из глубин моей сущности? А?»

Ровно в 07.23 утра я стащила компресс с головы. А четверть девятого уже сидела перед зеркалом с дивной золотой копной.

И в этот момент в комнату вошел Фазер, как обычно бодро провозглашая: «Доброе утро, доч...»

Споткнулся, поперхнулся, замолчал на середине фразы. Стоит, смотрит, как баран, и ничего не говорит.

– Ну что ты молчишь? Разве не красиво? – не выдержала я.

– Красиво-то красиво... но как-то даже противоестественно... будто нарисовано... точно украшение такое. Талантливо нарисовано, это правда... Но – нарисовано... Жутковато смотреть.

– Да брось ты, отец, – говорю, – красота, она и есть красота. Та самая, которая спасет мир.

Он помолчал еще немного, вдруг сказал:

– Ты похудела...

И ушел. Поехал в свой институт.

Ну да, он же ту дочку привык любить – с мышинными волосами. Про эту, новую, он еще недостаточно знает и не до конца в ней уверен.

Он был совершенно прав в одном: от желтых пилюль я похудела, и довольно сильно. Килограммов пятнадцать скинула. Поглощенная борьбой с волосами, я сама не заметила, как это случилось.

Это был явный перебор, конечно, и лицо выглядело осунувшимся, нездоровым, глаза же лихорадочно блестели. Да и сами по себе глаза... с ними произошло такое...

Они стали большие. Может быть, даже чересчур... Цвет? Как был карий, так карий и остался. Но тон стал более глубоким и бархатным. На свету глаза начинали меняться, глубина завораживающе переливалась темно-зелеными оттенками. Это золото волос отражается, играет с цветом, догадалась я.

Сильное получилось сочетание: золотое сверкание, обрамляющее оливково-карие, миндалевидные очи, в результате они тоже приобретают щемящий, волшебнo-золотистый отлив.

От пристального взгляда в эти бархатные пещеры мне сделалось страшно. Наверно, действие пилюль окаянных продолжается, решила я.

Похудение было катастрофическим, я это чувствовала. Еще немного, еще чуть-чуть, и меня затянет туда, откуда нет возврата. Растаю навсегда.

А может, это и к лучшему, мелькала мысль. Нет-нет! – спорила я с собой. С этим соблазном надо бороться, пока силы есть. Неужели я напрасно мучилась столько времени? Нет, надо хоть немного пожить красивой. Попробовать, каково это. А поддаться соблазну всегда успеется. Нельзя давать ему вырасти в размерах, завладеть собой... А он ведь и так норovit... Наглый, жестокий, уверенный в неизбежности своего торжества. С узкими волчьими глазами.

«Господь с тобой, разве бывают соблазны с глазами, да еще волчьими?» – спрашивала я себя. И сама же отвечала: «Этот – именно такой».

Но в тот день реакция Фазера все же меня расстроила. Посмотрела я на свое отражение еще раз. Может, и вправду нарисованная? Сон чей-то, а не женщина.

Два дня в зеркало не заглядывала. Уже почти готова была Фазера попросить: нельзя ли достать средство, чтобы в обратную сторону процесс запустить? Впрочем, кажется, такого препарата не существует. А в таком случае зачем зря расстраиваться?

На следующий день Фазер сопел, сопел, потом говорит:

– Хорошо, что в паспорте фотография черно-белая... А то с милицией бы намучилась... А что ты подругам скажешь? Никто тебя не узнает.

– Ничего, – говорю, – во-первых, друг, собственно, и не осталось... При нашем-то с тобой образе жизни – какие подруги могут быть? Ну Нинка еще иногда звонит... Но скоро, думаю, перестанет. Зато знаешь, какой плюс огромный? Прежние ухажеры теперь узнавать перестанут. Блеск!

– А, так вот в чем дело! Вот для чего ты это сделала...

– Ну да, – говорю, – и для этого тоже. В значительной степени...

Догадливый Фазер, ничего не скажешь... Недаром академик. Хотя мне, честно говоря, и туповатые академики встречались. Но мой не из тех, его не обманешь...

Ну, в общем, погоревала я три дня, в мерихлюндии побывала...

А на четвертый день... проснулась, смотрю – солнышко в окошко светит... подумала: черт возьми, жизнь продолжается! Побуду искусственной красавицей, нарисованной... Не для мужиков, а для самой себя. Бывают жребии и пострашней.

Но все же насчет мужиков, решила я, надо бы проверить. Убедиться. Ну так, чтобы иллюзий в будущем не питать.

Три недели я из дому почти не выходила. Заставляла себя есть побольше. На диване валялась, книжки читала. И потихоньку стала набирать вес. Щеки округлились, глаза, соответственно, чуть уменьшились – но это было только к лучшему. Стало исчезать ощущение нездешности, образ больного туберкулезом эльфа сменился обликом вполне аппетитной кареглазой блондинки. «Надо вовремя остановиться, думала я, а то перегну палку, стану опять толстушкой, хоть и с красивыми волосами».

Я же не знала тогда, что в моем случае побочный эффект пилюль окажется на удивление благотворным. Обмен веществ надолго стабилизируется, сбалансирован. И прыщи заодно тоже исчезнут. Поначалу поверить в это было трудно. Еще долго каждое утро хваталась я по привычке за дефицитный крем «Балет», собираясь замазывать уродливые красные пятна.

В то время я еще не знала, что преобразилась надолго и всерьез. Решила, надо поспешить с проверкой, пока вес оптимальный. И волосы не потускнели.

Пошла на лестничную клетку, стала соседней обзванивать. На нашем этаже никого дома не оказалось. Но зато этажом ниже, прямо под нами, дверь открыла Нонна Викторовна, жена академика Леонова, бывшего коллеги и приятеля Фазера. Теперь, правда, они совсем

не общаются, по понятным причинам, но мы с его женой и сыном Володей продолжаем здороваться. И они к нам, кажется, за какой-то надобностью забежали пару лет назад. Так что шока не должно было быть. Однако Нонна Викторовна уставилась на меня широко открытыми глазами. Видно, не уверена была, кто перед ней. Наконец выдавила:

– Саша? Это ты? Я что-то...

Тут в прихожую вышел Володя. Он, кажется, с женой развелся и вернулся жить к родителям, в академическую квартиру. В последнее время я встречала его в подъезде довольно часто.

Вышел и, похоже, остолбенел. Стоит молча и смотрит во все глаза.

Я откашлялась, и говорю:

– Здравствуйте, Нонна Викторовна, здравствуй, Володя... Простите за беспокойство... Я на секундочку... У вас отвертки не найдется? А то мне батарейку надо срочно заменить...

– Отвертки... – говорит Нонна Викторовна, а сама смотрит на меня не отрываясь. Повернулась к сыну и пробормотала растерянно: – Володя, посмотри, пожалуйста, в стенном шкафу...

Тот некоторое время стоял неподвижно, глазел на меня, будто и не слышал. Потом с видимым усилием оторвался и торопливо прошел в комнату... Оттуда доносились какие-то странные звуки, точно он ронял там что-то, с шумом бросал на пол, словно торопился очень в поисках своих.

А мама его сказала:

– Ты, Саша, как-то сильно изменилась...

– Вы находите? Ну, повзрослела, наверно, а вы меня все ребенком помните...

– Ребенком, – точно эхом отозвалась она.

Тут Володя снова выбежал. Протянул мне сразу три отвертки. А сам глаз с меня не сводит. Я попыталась отвертки у него взять. Он не отдает. Схватил меня за пальцы. Я руку вырвала. Он покраснел густо-густо. Сказал глухо:

– Извините.

Я вежливо попрощалась, повернулась и пошла.

Спустилась во двор, в домоуправление.

Там сидела толстая тетка, дежурная, наверно. А еще какой-то мужик обретался. Слесаря поджидал или что-то в этом роде. Я поздоровалась с теткой, расспросила ее про графики отключения горячей воды. Она отвечала вроде впопад, но смотрела с элементом изумления. Или так мне показалось. Но вот мужик, тот совсем обалдел. Или как это еще говорили наши предки? Мозг вынесло у него, вот как. В общем, глаз от меня не отводил. Пересел поближе. Под конец я к нему повернулась, говорю:

– Где-то я вас, кажется, видела... Вы из какого подъезда?

Мужика точно ножом в горло ударили. Он поперхнулся, зашипел, конечностями стал трясти... Потом как-то сгруппировался, вскочил даже. Когда я пошла домой, засеменял за мной, заглядывая мне в глаза по-собачьи преданно. И что-то такое бормоча, то ли приглашал куда-то, то ли просто проводить просился. Но я это дело пресекла. Этого мне только еще не хватало. Даже пришлось что-то ему сказать резкое. Типа: отвянь, дядя, я не про твою честь.

На обратном пути зашла к Нонне Викторовне – отвертки вернуть.

Та словно за дверью поджидала. Не успела я руку от звонка оторвать, как она уже открыла, но только на несколько сантиметров. Схватила отвертки, даже поблагодарить не дала, дверь захлопнула. А из-за двери раздалось отчаянное: «Мама!»

А я поднялась к себе, села напротив зеркала. Кивнула удовлетворенно, сказала сама себе:

– Вот тебе и нарисованная!

2

Потом было воскресенье. А значит, и плячки. И мне пришлось вставать ни свет ни заря их печь. Но ритуал был нарушен. Фазер смотрел на меня долго, не отрываясь. Потом сказал:

– Все никак не привыкну, что у меня дочь – блондинка.

– Не просто блондинка, а золотая, – поправила я его. – Ну, ладно, полюбовался, и хватит.

Фазер кинул на меня еще один короткий взгляд, вздохнул и покорно уселся за стол. По привычному сценарию, он схватил горячий пляцек, стал перебрасывать его из руки в руку. Дуть на него.

– Ну что ты такой нетерпеливый? – сказала я.

Дежурные слова.

Он же каждый раз одно и то же проделывает. И ждет, что я ему сделаю замечание, как их раньше всегда делала мама. А он в ответ отшутится, скажет что-нибудь вроде «плячки отключают инстинкт самосохранения» или «у академиков низкий порог чувствительности». Каждый раз должны быть какие-то новые вариации на эту тему. В крайнем случае можно громко и выразительно помычать.

Плячки, скажу я вам, такая штука замечательная! По-своему хороши и сладкие коржи в варшавском или краковском стиле. Но все же постные плячки, западноукраинские, – это нечто особенное. Этот вариант то ли для поста специально был придуман, то ли создан небогатыми людьми в годы лишений. Когда было не до жиру и не до сладостей. В общем-то, теоретически вещь не такая уж сложная. Лепешки, они и есть лепешки – разве что с маком и луком. Но тесто должно быть совершенно воздушное, тончайшее, а корочка хрустящей. На самом деле плячки – это настоящий шедевр гастрономического искусства.

Маму научила львовская бабушка. Потом и я получила это странное знание по наследству. Мое единственное кулинарное наследие. Хотя поначалу выходило у меня так себе. Но со временем поднаторела. Теперь у меня получается немногим хуже, чем у бабушки и матери.

Главной проблемой стало – добывать мак, ясное дело – дефицит. А без мака плячки – типичное не то.

С давних времен – когда еще мама была жива – установилась у нас традиция – устраивать по воскресеньям непременно «грасс матинэ», что значит «жирное утро» по-французски. До десяти все валялись в кроватях, читали, слушали музыку, а потом мама пекла плячки в огромном количестве, и их поедание заменяло как второй завтрак, так и обед.

Когда мамы не стало, плячки начала готовить я. И теперь это стало уже ритуалом, почти религиозным обрядом, означавшим продолжение семьи и продолжение мамы.

Фазер шел на невероятные ухищрения, чтобы добывать мак.

Вон он сидит, жует и смотрит на меня подозрительно. Наблюдательный... Впрочем, чему удивляться: изучил за столько-то лет. Да и не зря же он все-таки академик. Как-никак. Хотя полно, конечно, академиков совсем не проницательных, уж мне ли не знать.

Я ведь в девятнадцать лет замуж сходила – за академика Верницкого. Вернее, не сходила, а сбегала, поскольку произошло это совершенно вопреки родительской воле. Кроме того, глагол «сбегать» совершенно точно передает краткость действия: брак продолжался два месяца и двенадцать дней. Да и то...

Мама с Фазером были в полнейшем ужасе. Академик Верницкий мне в дедушки годился. А может, и в прадедушки. Бывал в доме, на даче. Смотрел на меня жадными глазами. Мне это льстило: такой солидный, известный человек, а влюбился в девчонку.

Напугавшиеся родители отказали Верницкому от дому. Подозревали его в том, что он то ли педофил, то ли плешивый карьерист. А может, и то, и другое.

Тогда я сбежала из-под родительского крова и вышла за него замуж. Он вообще-то очень боялся гнева президента Академии наук. Но надеялся, наверно, что все как-нибудь образуется.

Академик Верницкий казался мне очень забавным. С толстой и постоянно выпяченной нижней губой. С удивленными глазами за стеклами очков. Но главным двигателем событий было жгучее желание доказать себе и всем вокруг, что я могу быть привлекательной. Несмотря на пышные формы и прыщи на лице.

А через два месяца и двенадцать дней я проснулась в постели рядом с оглушительно храпевшим стариком и подумала: «Что это я здесь делаю?» Встала, оделась и ушла.

Ночевала несколько дней у Нинки, потом Фазер позвонил, спросил недоуменно: «А ты чего домой не возвращаешься?»

Ну я не стала ему говорить, что с первого дня ждала звонка и даже просила Нинку невзначай довести до сведения предков, где именно я нахожусь и как со мной связаться. Заранее и ответ приготовила на вопрос о том, почему живу не дома.

«Издваться будете. Языком цокать и головами качать», – сказала я. Не сомневалась, что родителям такая фраза понравится. Ведь из нее следует, что родительское мнение для их дочери чрезвычайно много значит. Вот как переживает, бедолага. Растрогаются старики, мне с ними легче будет. Позиции немалые на этом можно завоевать. И, как я и ожидала, отец чуть ли не прослезился в трубку телефонную – я по дрогнувшему голосу услышала. Говорит: «Да что ты, доченька! Да ничего подобного! Мы уже с матерью договорились: ни слова упрека. Делаем вид, что этих двух с лишним месяцев не было». Я сказала тогда: «Смотри, отец. Пакта сунт серванда, договоры должны соблюдаться». – «Будут, будут соблюдаться, не сомневайся! Аб имо пекторе!» То есть обещает от всего сердца. Ну ладно, подумала я и вернулась.

Договоры соблюдались неизменно. Но ни я, ни родители не подозревали тогда, что все это оказались еще цветочки. Ягодки были впереди.

Мама ягодок не выдержала. Фазер, правда, не согласен, что мои приключения сыграли такую уж роковую роль. Или делает вид, что не согласен. «Ты не должна себя винить», – говорит.

Вон, сидит, смотрит напряженно. На лице написано: что еще она выкинет. Никого и ничего, кроме меня, в жизни у него, кажется, не осталось. Других детей нет, внуков нет и не будет. Работа ему осточертела, в институте давно заправляют другие люди, он только числится директором. С президентства в академии его турнули за диссидентство. Но и оно, инакомыслие это, его уже по-настоящему не увлекает, я же вижу. Глаза больше не горят, голос не звенит, не вскакивает он больше, как молодой, чтобы гневно, презрительно бросить властям предержавшим свое обвинение – свое «жаккюз». Дежурно делает критические заявления, дает интервью иностранным корреспондентам. Но все это без страсти, без прежнего пыла. Так, по привычке, по инерции. Да и наука... какая уж там наука, математики, они же в молодости все открытия делают, после сорока уже все, привет горячий – мозги не те. А Фазеру уже и за шестьдесят перевалило. Одно время популяризаторством увлекался, но потом и к этому остыл. Ну написал одну «Занимательную математику», другую... Одну книжку «Математика для детей», еще одну похожую, под другим названием... Сколько можно?

Эх, жалко мне Фазера. Но и достает он меня иногда. Так достает своей заботой и плотной опекой, что начинает хотеться назад, к Верницкому. Ну, к условному Верницкому, буквальным, тот уже не у дел, Альцгеймер его одолел, в богадельне живет для слабоумных ака-

демиков. Ну, значит, еще куда-нибудь сбежать! Избавиться от этого инвалидного взгляда – нежного, жалкого, виноватого...

Тут Фазер решил меня огорошить. Говорит:

– У тебя появился кто-то?

Я фыркнула – а ведь еще считает себя тактичным человеком, высоким интеллигентом. А такие вопросы задает, причем неожиданно, без всякой артиллерийской подготовки. Хотела ответить дерзостью, но сдержалась. Пожалела. Ну переживает человек, опасается очередных вывертов моей богатой событиями личной жизни.

– Извини, что так прямо в лоб спрашиваю. Никакими фактами не располагаю, только вижу, что ты сильно изменилась... в последние несколько недель. И я имею в виду не только внешность.

Это он теперь оправдывается. Не надо, Фазер, не оправдывайся, мысленно говорю ему я. Знаю, знаю, ты из лучших побуждений. Но, может, лучше не надо? Ты нервничаешь. Но нервами делу не поможешь.

Рассмеялась – надеюсь, что натурально.

– Да нет, – говорю, – папочка. Все в пределах нормы.

«Папочка» – это у меня такое запретное слово, мощное оружие, которое тут же заставляет противника сдаться. После этого я могу делать с ним все, что хочу. Вот и на этот раз вижу: разомлел мой родитель, раскис, заулыбался глуповатой улыбкой. Восторг, значит. Любимая дочка нежное слово сказала.

Эх, знал бы ты, папочка.

Но вслух говорю:

– Ну что ты, ничего такого... так, развлекаюсь чуть-чуть... Ты же знаешь, я без этого не могу.

Фазер покорно похихикал. Не нравятся ему эти развлечения мои, ой, не нравятся. Если бы речь шла о чужой девушке, он бы считал их сугубо аморальными. Но про любимую дочь он не может позволить себе так думать. Ей, получается, можно. Но тревожит его это до судорог. Только виду подать нельзя. Вот и улыбается, как добрый олигофрен.

Чтобы все-таки что-то сказать человеческое, дать ему возможность посочувствовать, пожалеть единственную дочь, я сказала:

– Ну, и ты знаешь, в последнее время опять голова болит.

Отец обрадовался. Ну, то есть он и огорчился тоже. Но в глубине души он счастлив такому обыкновенному объяснению. Ах вот оно в чем дело, оказывается! Не какие-нибудь там опять чертовы ужасы, а нормальная, хоть и прискорбная причина – мигрень. Правда, у дочери и мигрень не совсем обычная, тоже со зловещим подтекстом.

Поэтому, обрадовавшись, он тут же испугался:

– Опять? Головные боли? Прошу тебя, срочно, срочно покажись врачу! И терапевту, и этому... ну ты знаешь, о ком я...

– Да уж, догадываюсь... Но только я же к нему и так хожу вполне регулярно. Когда была в последний раз? Кажется, две недели назад. И снова иду дней через пять. Так что не волнуйся, папочка.

Уф, кажется, отбилась!

– А лекарства не забываешь принимать?

– Ну а как же! Я же взрослый человек.

– Этот... «Сенекс» прежде всего.

Да уж, синие таблетки «Сенекс». Синие, как смерть. Только что очередную пачку спустила в унитаз.

Перестала я прописанный мне «Сенекс» принимать, когда перекрашиванием волос занялась. И без врача понятно было, что сочетать загадочные желтые пилюли, меняющие

обмен веществ, с сильно действующими таблетками для психов может быть опасно. А потом... Потом я решила, что и вовсе мозги мои глушить больше не нужно. С балкона не прыгаю, никому глотку не режу, на милицию не бросаюсь...

Но Фазеру я ничего этого, конечно, рассказывать не стала. Зачем расстраивать человека? Ему и так несладко. Сделала я умильную физиономию и заверила родителя, что уж с чем с чем, а с «Сенексом» полный порядок.

Но не знаю, поверил ли он мне. Он же вовсе не дурак, Фазер мой. Посмотрел на меня еще раз особым взглядом, испытующим. Что-то с чем-то сверил. И, по-моему, остался не до конца удовлетворен. Но ничем больше я помочь ему не могла.

Как только он ушел, я побежала еще раз в туалет – проверить, насколько полный порядок, не всплывают ли проклятые таблетки.

3

Ну как было не показаться Нинке золотистой блондинкой? Удержаться невозможно, соблазн был слишком велик. Меня смех разбирал при одной мысли о том, как вытянется ее лицо...

Ах ты, бедняжечка!

Нинка с некоторых пор проявляла признаки охлаждения, может быть, даже обиды... Что-то такое навоображала себе, понимаешь...

Столько лет была верным оруженосцем, эд-дю-кам, так сказать, терпела мой несносный характер, все мои выходки и капризы, эгоизм и цинизм, даже издевательства, если называть вещи своими именами. Непредсказуемые качели моего настроения выносила терпеливо и смиренно.

Иногда навалится на меня тоска – не тоска, хандра какая-то злая, точно саднит внутри невыносимо. Надо обязательно выплеснуть это на кого-то – и кто оказывается под рукой? Нинка.

Как-то раз говорю ей: ты, Нинка, про Ювенала, про шестую сатиру, что думаешь? Она посмотрела растерянно. Потом вдруг в глазах мелькнуло что-то, обрадовалась, вроде как вспомнила. Это, говорит, тот кто «в здоровом теле – здоровый дух»? Нет, говорю, Ювенал ничего подобного не утверждал. Как же, говорит Нинка, не утверждал, когда у нас в медучилище столько раз его цитировали. Даже и по латыни. Дай-ка сейчас вспомню... менс сана корпус... что-то такое... сана...

Чушь, говорю, полная. Взяли четыре слова, из цитаты вырвали. Нет, Ювенал противоположное хотел сказать: что хорошо бы здоровому духу еще и здоровое тело сопутствовало, но главное при этом – все же дух, а не наоборот. Вот о чем он на самом деле писал. Орандум эст ут сит менс сана ин корпоре сано. Но это из десятой сатиры. А я тебя про шестую, про женскую, спрашиваю. Если что, говорю, могу дать почитать. Вот тебе томик, старинный, конечно, допотопного издания, но вполне приятно в руки взять. Она взяла книгу в руки, повертела, полистала, потом глаза на меня подняла мученические, говорит: не потяну я, Саша. Как это не потяну, говорю, вас же в медучилище латыни обучали, ты же сама рассказывала, еще просила тебе со спряжениями помочь, да мне все некогда было... Да, мы, говорит, все больше фармацевтическую терминологию и анатомию, названия мышц вот знала, да и то подзабыла... А что до Ювенала, так только вот про это – про тело и дух.

Я говорю: может, позанимаешься, подтянешь?

Я говорю: радицес литтерарум амарае сунт фруктус дульцес, то есть корни учения горьки, зато фрукты сладки. И тут до нее доходит, что я над ней издеваюсь... Ты меня разыгрываешь, говорит, а сама чуть не плачет....

О трансцендентности сознания иногда призывала ее поспорить. Только без Кьеркегора, говорю строго, нечего его тащить до кучи. Нинка вертит головой, она согласна без Кьеркегора, хотя понятия не имеет, кто это такой и почему его нельзя до кучи. Ну, и о литературе классической у нас с ней тоже интересные беседы получались. Ты, говорю, «Смерть Ивана Ильича» больше не перечитывай... Эту книгу надо один раз в совсем юном возрасте прочитать, а потом уже только в конце самом, когда актуально станет. Она сидит бледная, божится, что перечитывать до поры не будет. Но боится признаться, что не знает, кто «Ивана Ильича» сочинил. Потом говорит, боязливо так: «Это Чехов... кажется?» Я говорю: да, конечно, Чехов, в соавторстве с Ильфом и Петровым.

Я привыкла, что она все терпит. А я развлекаюсь за ее счет. Ну так ведь ску-у-ушна...

Ну и, кроме того, в нашем дуэте у меня роль ботанички-интеллектуалки была. А у Нинки – человека практического, что почем, хорошо знающего, да к тому же продвинутого по части межполовых отношений. Считалось, что она у нас если и не красотка, то уж точно сексапилка, фигуристая сладкая бабенка, на которую мужики слетаются, как мухи на мед. То есть она главная, а я так, та самая пресловутая подруга, которую, если что, просят для друга привести. Ну, и понятное дело, меня такая расстановка сил доставала, и я оттягивалась, мстила Нинке потихоньку за ее сексуальные успехи.

Нинка терпела-терпела, а тут вот, видно, взбрыкнула. Копилось-копилось – и бах! Взорвалось.

Я, правда, думала, обойдется. Подуется, подуется, и вернется, поджав хвост. Так ведь всегда бывало до сих пор. Куда ей деваться? Скучновато ей без меня будет. Одни серые будни. Семпер идем, все время одно и то же. Сплошь неинтересные толстые тетки вокруг с коровьими глазами, безо всякого чувства юмора, бухтят своими жирными голосами о чем-то бессмысленном. Да их мужики-алкаши – бьющие по пьянке по чему попало, это уж само собой. А пьянка у них чуть ли не каждый божий день. И еще заделывающие им в нетрезвом состоянии детей-дебилов – полудебилов и дебилов полных.

Я готова была даже – ну не извиниться, это было бы слишком, конечно, но дать Нинке понять, что понимаю: в последний раз я переборщила. Перегнула палку.

А в последний раз случилось вот что.

Привела она этого своего... Валерочку, кажется. А может, и Юрочку. Что-то такое. Хотела похвастаться. Причем «интерес» ее был на этот раз уж как-то совсем... неярко. Прimitив какой-то. Лицо широкое и слегка рябоватое. Глазки маленькие. Нос картошкой. Но весь из себя положительный и непьющий. Офицер, но не из госбезопасности, а простой армейский инженер, сапог, что называется. Но зато, судя по всему, с серьезными намерениями.

У Нинки эта проблема главная была. Успех успехом, но вот с этими самыми намерениями – как раз дефицит. Как-то никто не спешил ей руку и сердце предлагать. А у меня, наоборот, очередь в постель не выстраивалась, но зато матримониальные проекты на горизонте возникали, и регулярно. Неважно даже, если из-за папочки в основном. Какая разница? Важен был результат. Вот и замуж успела сходить, и еще какие-то кандидаты вокруг вились, к академической квартире примеривались. Нинка, наверно, рассуждала так: на этот раз ее (то есть меня) опасаться нечего, на такого уж она никак не клюнет. Даже кокетничать с ним не станет, не снизойдет. С другой стороны, может быть, просветит его своим беспощадным рентгеном (почему-то она считала меня жутко пронизательной) и посоветует, можно ли верить в серьезность намерений. И правда ли, что на выпивку его не тянет? Или это он только так, притворяется. И вообще, следует ли с таким семью создавать?

Поначалу ей пообещала именно так и поступить. А самой ведь любопытно было: кого же это моя Нинка выбрала? Как я увидала, так даже обидно за нее стало. Ну, урод, практически...

Стала я его изучать, как обещала, беседу вежливо вела светскую (хотя и думала про себя: бог ты мой, какой же чушью я занимаюсь, бесценное время жизни на что и на кого трачу!).

И вот пришла я в итоге в состояние раздражения, а потому стала улыбаться уроду еще ласковее. Потом, от скуки чисто, притащила большое зеркало, обняла Нинку так, чтобы мы обе там отражались. И спрашиваю Юрочку или Валерочку:

– Ну что, Юрочка, кто вам красивее кажется, сравните!

Юрочка покраснел, что-то забормотал, типа, что обе прекрасны, каждая по-своему. То есть обижать никого не хотел. Интеллигентно как будто. Смирно попросился, пошел Нинку провожать. Я даже ей по телефону тут же позвонила, она со мной разговаривать не хотела, но потом потеплела, когда я ей растолковала, что это я тест такой ее жениху потенциальному устраивала. И что, по моему мнению, он его блестяще прошел. На квартиру Фазера вроде как не заглядывался. Ковров не щупал, был рыцарем при даме – при ней, Нинке. То есть все хорошо.

Но с этим выводом, как выяснилось, я поторопилась. Прошла пара дней, и Валерочка появился снова, уже без Нинки. Пришел, нахал, незваным, с букетом роз. И стал меня этот Валера просто осаждать, в любви объясняться, записки в цветах под дверь оставлять. Ну я его отбрила мощно.

Прихожу как-то в пятницу из продмага, там в очереди пришлось стоять за сардельками, что, конечно, не способствовало хорошему настроению, еще и лифт опять не работал, и это в академическом доме! Злая, короче говоря, как мегера, поднимаюсь по лестнице и вдруг вижу кадра этого ценного под дверь своей, что-то он там прилаживает: очередной букет с записочкой. Увидел меня, застеснялся, покраснелся, как девица, букет уронил, поднять не решается. Я говорю: ну и что ты здесь делаешь, спрашивается? Он мычит в ответ, что-то такое невнятное, не разобрать. Ну, я не сдержалась, говорю: послушай, Валера, Юра или как там тебя... Ты что вообще себе вообразил? На академические харчи потянуло с нездешней силой? А как же любовь, как же красоты женские? Да сам-то ты кто такой, урод нищий? Ну-ка, брысь отсюда, и чтобы духу твоего здесь не было... И дорогу в этот дом забудь. Я консьержа предупрежу, чтобы не пускал тебя сюда никогда...

Ну и заложить его пришлось подруге, это уж самой собой.

Но Нинка почему-то не только на него, но и на меня обиделась. Говорит: слышу в твоем голосе довольство собой. Пусячок, а приятно, не так ли: еще один трофейчик, хоть и плохонький. Я говорю: да господь с тобой совсем, какой трофейчик? На что он мне сдался? О чем ты говоришь? Да я таких на расстояние пушечного выстрела к себе не подпущу. Да и тебе он зачем нужен, такой-то? Зачем ты с ним валандаешься, не понимаю. Все же уважать себя надо, не опускаться до такого-то уровня... Иллигитими нон карборундум, не позволяй всяким козлам себя унижать.

Но, вместо того чтобы меня поблагодарить, Нинка еще больше разозлилась... С тех пор звонить перестала. А я решила: ну и шут с ней. Надоела. Пусть катится!

Но теперь вот подумала, что надо напоследок ей себя показать, в новом виде-то. Потому как больше особенно некому. Все остальные подруги отпали уже давно и надежно.

Надо было, конечно, хитрость проявить. А я, наверно, по излишней самонадеянности, думала: обведу ее вокруг пальца, запросто. И особенно разговор не продумала, не сосредоточилась. И потому облом случился.

Дома у нее несколько вечеров никто к телефону не подходил, я не выдержала, позвонила ей на работу, в венерический диспансер этот ее дурацкий.

Она говорит:

– Я тебя прошу не звонить мне больше.

Я в ответ:

– Да ты что, очумела, что ли? Что ты так подругами разбрасываешься? Как будто у тебя их много... таких, как я.

– Обойдусь, – отвечает Нинка, причем так отвечает – скорее шипит, чем говорит. Я говорю:

– Если я тебя вдруг чем-то обидела...

Но она мне даже закончить не дала. Сказала злобно:

– Я скажу, чтобы меня больше к телефону не подзывали.

И трубку повесила! Цаца...

4

Закон подлости, или закон о подлости, как смешно говорит Нинка, он неумолим, неотвратим и неизбежен.

Прошло три недели, за которые так много случилось, что я и думать забыла про Нинкину обиду. И тут она звонит, говорит в трубку тихо, еле слышно:

– Если хочешь, я приеду...

Мелькнула у меня мысль: а чего это она вдруг сменила гнев на милость? Подозрительно как-то. Мелькнула и исчезла. Осталась другая: поздно, голубушка, опомнилась. Более не актуально.

А Нинка, надо думать, ждала, что я начну вопить от восторга. Радоваться, что она меня простила, благодарить.

А мне хотелось ей сказать: извини, ты опоздала. Тропо тарде.

Но ничего этого я говорить не стала, все же чувствовала свою вину, несмотря даже на все обрушившиеся на меня события, на то, что голова моя, да что там голова, каждая капля крови моей была занята, заполнена совсем другим... Как будет одноклассница моя Нинка, работающая ныне медсестрой в венерологическом диспансере, реагировать на изменение моей внешности, меня теперь не очень волновало. Но я сказала:

– Приезжай, конечно, приезжай.

Нинка вроде удивилась – наверно, таких интонаций никогда от меня не слышала. Говорит:

– Ты что, не рада?

– Ну почему не рада? Рада. Приезжай.

– Я могу в другой раз как-нибудь...

– Да нет, почему в другой? Давай, приезжай сейчас.

Говорю это, но голос не слушается, выдает.

Но пока Нинка ехала через полгорода, из Бирюлева своего, я вполне взяла себя в руки, сосредоточилась...

Совершенно искренне собиралась быть с ней предельно ласковой, держаться смиренно, скромно, как и надлежит девушке, сильно виноватой перед своей лучшей подругой. И вполне эту вину осознающей... Но Нинка, как вошла, устала на меня, точно на покойницу. Впала в ступор почти, в состояние, близкое к обморочному, слов никаких выговорить не может, только мычит. А я, честно, не могу понять, что с ней такое происходит. Говорю, вполне искренне, заботливо:

– Что с тобой, Нина? Тебе плохо? Давай, давай, обопрись на меня... это у тебя после гриппа, наверно....

Насилу дотащила ее до дивана, усадила, воды налила.

А Нинка смотрит на меня, глаз не отрывая. Отдышалась и говорит, хрипло так:

– Хватит притворяться... Для этого ведь и звала, разве нет? На эффект посмотреть?

Ну вот на: смотри.

И тут я только вспомнила: ах да! Конечно. Новый цвет моих волос. Потрясающая золотая копна! Как я забыть могла? Просто невероятно. Если теперь приняться правдиво объяснять, что поначалу и вправду хотела полюбоваться на Нинкину реакцию, ахи и охи послушать, да теперь вот забыла, другим теперь совсем занята... Не поверит этому Нинка, и никто бы не поверил...

Сижу, головой мотаю, что сказать, не знаю... Давно со мной такого не было, чтобы слов не находилось, может быть, даже никогда.

– Теперь расскажи, как ты это с собой сделала? – говорит Нинка.

– Как, как, – отвечаю. – Да средство такое есть заграничное, Фазеру кто-то подарил... «О-Morphia» называется. Но не проси: больше нету. Одна порция всего-то и была.

Нинка окончательно пришла в себя, голос к ней вернулся нормальный. Вскочила на ноги, стала бегать вокруг меня, волосы шупать. При этом цокала языком, говорила: «Ну и дела! Нет, надо же... как такое вообще бывает... это себе представить даже невозможно...»

А я ее успокаивала, мне вроде даже неловко было... хотя раньше я вроде такого чувства не знала... Говорила: «Да ладно тебе! Не преувеличивай, в самом-то деле». Хотя в конечном итоге все-таки приятно было.

Нинка в конце концов вернулась на диван, уселась, но продолжала все еще головой качать и причмокивать. Подвела итог:

– Знаешь что, Саша? Теперь ты границу перешла... в другую лигу попала. Не только богатая невеста, но еще и красавица.

– Ну ты и скажешь тоже... Не надо только преувеличивать. Ну похорошела слегка, волосы подправила, от прыщей избавилась вроде, не знаю, надолго ли...

– И похудела почему-то вдобавок...

– Ну это уж точно не навсегда... Сама знаешь, как трудно талию сохранить...

– Ничто не вечно под луной. Но на настоящий момент ты точно красотка стала... И это так как-то... неожиданно... Завидовать тебе – бессмысленно, невозможно. Как там, у римлян твоих? Про Юпитера и быка?

– Тогда уж, – говорю, – про корову и Юпитершу...

И тут мы засмеялись – сначала Нинка захихикала, а потом и я не удержалась, за ней последовала. И, видно, это была такая разрядка, что ли, принялись мы хохотать, аки ненормальные. Почему-то нам так невыносимо смешно было – про корову, которой не дозволено то, что разрешается жене Юпитера...

– А может, не жене, а сестре вовсе! – выкрикивала Нинка, и мы обе заливались еще пуще.

– А бедняжка племянница быка! Ей, несчастной, ничего не дозволено!

Просто почти истерика с нами приключилась. Но потом отсмеялись. Замолчали. Загрустили вдруг обе. Сидим, молчим печально и друг на друга не смотрим.

И вдруг меня понесло. Стала говорить, чего вовсе говорить не собиралась.

– Нина, я вообще-то хотела извиниться...

Она явно была поражена. Не знала, как реагировать. Небось думала: «Опять разыгрывает. Я куплюсь, а она снова надо мной посмеется».

– Нет, – продолжала я. – Ты не думай... я не прикидываюсь... я всерьез. Вот что мне приходит иногда в голову: что я, возможно, нехороший человек... Злой и несправедливый.

Говорю и сама себя слушаю с изумлением:

– ...А потом кто-то внутри меня возражает: это по какому такому критерию? По взглядам тупых мещан каких-нибудь? Нет, отвечаю, нечего на мещан валить. Есть критерии общие, нормальные, общечеловеческие. Как у Чехова.

– Чехова я знаю, – говорит Нинка важно.

– Ну, конечно, знаешь! Но я хотела тебе объяснить...

– Да брось ты! Небожителям...

– Вот видишь, все-таки ты обижена...

– Да нет...

– Не нет, а да. Я же слышу. Да я бы на твоём месте не так ещё рассвирепела.

Нинка смотрит на меня во все глаза.

– Что-то я не узнаю тебя, подруга... Какая-то ты... другая. Не только в смысле цвета волос, а вообще...

– Да, – говорю, – сейчас расскажу тебе такое... ещё больше удивишься... только поклянись, что никому и ни за что ни гугу, ни слова, ни звука!

– Клянусь, под пытками не выдам!

И вот, слово за слово, выложила я то, что выкладывать никак не следовало. Такое она услышала, что у неё глаза на лоб полезли.

Выпили мы с Нинкой под это дело изрядное количество муската – в бутылке почти ничего не осталось. Ну, окосели, понятное дело. Посмеялись. Она меня подначивала. Кричала что-то странное, типа: знай наших! А я про себя удивлялась: это кто, я, что ли, «наши»? И почему меня нужно «знать»?

Но вслух я ничего не говорила, только Нинке подхихикивала. Очень важно было почему-то ей угодить, прощение заслужить.

Наверно, перестаралась я. Потому что, когда Нинка удалилась в своё Бирюлево, я как-то быстро протрезвела. И так мне стало противно, так муторно.

Лежала с закрытыми глазами, не могла заснуть, чуть не плакала: чего это я так себя распустила-то? С чего это все эти тайны позорные Нинке раскрыла? Ведь подписку давала, и «псих» строго-настроено велел не вспоминать, работал над тем, чтобы все забылось, лечил, гипнотизировал. И отец умолял забыть, на коленях стоял... Таблетки синие в меня впикивали. Но самое главное – что же это я так унизилась? Разве можно кому бы то ни было на свете такое про себя рассказывать? Всю ночь не спала, и с тех пор начались опять эти головные боли ужасные. И главное, признаться не могла ни врачам, ни отцу, чтобы помощи попросить.

Вообще с того дня стала я... как это сформулировать? Не совсем адекватна, наверно. Из-за этого и случилось все, что потом случилось. В другой ситуации черта с два я бы... с кем бы то ни было...

Но это все было впереди, а тогда, в сентябре, я страшно ненавидела Нинку – за то, что так догола перед ней разделась. Хотела ей за это сделать гадость какую-нибудь невероятную, но так и не сделала почему-то. И я зареклась, конечно, с той поры с ней общаться, видеть её не желала, даром что осталась без единственной подруги...

Но потом настал момент, когда я и этот свой зарок нарушила.

И ещё как нарушила.

5

Она сначала даже верить отказывалась.

– Не может такого быть, – говорила.

– Почему? – спрашивала я.

– Потому что такого не может быть никогда, – отвечала. Почти по Чехову.

«Неужели читала и сейчас вспомнила?» – удивилась я про себя. А вслух продолжала:

– Ну как же... Я же пропадала тогда на три месяца, ты ещё недоумевала, куда это я подевалась.

– Да, и ты мне объяснила, что уезжала в археологическую экспедицию и там заболела холерой, чуть не умерла... Поэтому стала такая дерганая.

– Да, и из всего этого правдой было только вот это – «чуть не умерла». Чуть не убили, сволочи.

– Ты меня разыгрываешь! – стояла на своем Нинка. Ну, никак ее не убедить было.

И это ее упрямство меня настолько разозлило и раззадорило, что я пошла выкладывать такие детали... которые, в общем-то, лучше было бы не разглашать, честно говоря. Потому как Нинка, конечно, меня не обманывала никогда и вроде бы не раз доказывала, что она – «могила», тайн не выдает... Но все же, но все же...

Я рассказывала ей, и все будто опять со мной в реальности происходило.

Снова видела я, как шла по своим любимым Патриаршим прудам, вспоминая, как всегда, Булгакова. Села на скамеечку – прямо как Берлиоз. Погода была чудная, весенняя. Птицы пели, и на душе было спокойно и радостно. Несмотря на все осложнения, которые происходили в тот момент с отцом, с Фазером, как я его звала с самого детского сада, где в нас пытались влить не нужный теперь никому английский.

А его тогда сняли с должности президента Академии наук. Сняли под каким-то бессмысленным, идиотским предлогом. Нарочно, наверно, так нелепо оформили все, чтобы он понимал, за что снимают на самом деле. В институте, правда, пока оставили, причем на немалой зарплате, и за звание академика отваливали почти министерский оклад, да еще и продовольственный спецпак, талоны и много чего еще. Даже машину с шофером почему-то не отобрали. «Чтобы в любой момент знать, где я нахожусь и что делаю», – предполагал отец. Но от привилегии этой не отказывался, привык уже к машине, шоферу, он же адъютант, он же помощник, устраивающий все практические дела. Ну и телохранитель заодно тоже, равно как и зоркое око, за тобой наблюдающее. В Москве без машины и такого помощника жить нелегко. Хотя миллионы людей живут как-то. Но нам с ним, избалованным, это трудно было даже представить.

Так что материально все пока было удовлетворительно, но однажды Фазер завел меня в ванную комнату, включил оба крана на полный максимум и шепотом сказал: «Боюсь, что это только начало... дальше может быть хуже... Но не становиться же мне из-за этого сволочью?»

Ну, я, конечно, закричала: «Да пошли ты их куда подальше, и ничего они тебе не сделают, вонючки!» А Фазер стал мне рот зажимать, говорить: «Тише, тише!», но почему-то смеялся при этом. По-моему, моя реакция ему понравилась. Видно, думал: вот еще чудо в перьях, отважная, вся в меня!

Виду-то я не подавала, храбрилась, но при этом какой-то холодок иногда пробегал у меня по спине – бр-рр! Видела, как хмурилась мама, она почти совсем перестала улыбаться. Видно, предвидела неприятности посерьезнее – у Фазера, а значит, и у нас с ней. А маминой интуиции я привыкла доверять.

Но по поводу весны на Патриарших прудах все это казалось мне далеким и даже нереальным, а близко и реально было вот это – теплый ветер, синее небо с паутинкой легких облаков и птичье пение. Я сидела закрыв глаза, слушала птиц и что-то внутри себя.

И вот ровно в этот момент на мою скамейку кто-то плюхнулся. Я с досадой открыла глаза. Посмотрела: это был высокий человек, чернявый, нездешний какой-то. «Ну, прямо Воланд», – развеселилась я. Но недолго мне оставалось веселиться.

– Дэвушка, – сказал, улыбаясь во весь рот, чернявый. Зубы у него были великолепные, белый жемчуг, как у киноартиста. – Будтэ добры, подскакжытэ, пожалста, который час?

Ну, я, вообще-то, привыкла, конечно, ко всяким приставам. Стоит из дома выйти, как можете не сомневаться – сразу находится какой-нибудь козел похотливый. Я обычно не отвечаю, отворачиваюсь. Потому что стоит только ответить, как потом не отделаешься...

Но этот был уж очень неординарен. Даже таинственен. Ну и красив как черт. Как дьявол. Как шайтан. И я, дура, ввязалась в разговор. Впрочем, не ввязалась бы, вряд ли исход дела был бы существенно иным.

– Что же вы, – говорю, – просите у меня то, что есть у вас самого? Вы и сами знаете все про время. У вас вон часы иностранные на руке. Дорогие, наверно, страшное дело.

Чернявый изобразил шок. Уставился на запястье своей правой руки и говорит:

– Откуда они тут взались, удивляюсь... С утра еще не было, клянусь...

И свистящую в конце слова «удивляюсь» и «клянусь» так утрированно тянет, будто там по три буквы «с» в каждом, а не одна.

– Вы левша? – спрашиваю.

– Э-э, какая разница, слушай... Главное, чтобы человек был хороший, э-э...

– И акцент у вас притворный, не натуральный... Смешно получается...

Тут чернявый засмеялся. И я вместе с ним.

Потом говорит, уже по-другому, почти без всякого акцента, так, намек какой-то небольшой:

– Ну, рассмешил я тебя, Сашенька, и ладушки. А сейчас поедем ко мне пообедаем, а то я со вчерашнего дня ничего не ел.

– Ну, уж это дудки, – начала я. – И тот факт, что вы знаете, как меня зовут, он ничего...

Но тут я замолчала на полуслове. Потому что чернявый обернулся и кому-то помахал рукой. Я тоже обернулась и увидела, что к моей скамейке берлиозовской быстрым шагом приближаются, почти бегут, еще несколько мужчин крепкого сложения – и все как один кавказской национальности.

«Пора уже кричать «помогите» или рано еще?» – пыталась я сообразить, и, пока думала да размышляла, упустила время, когда можно было еще что-то изменить. Через какие-то полсекунды я уже была окружена плотным кольцом крепких кавказских тел, полностью отгородивших меня от случайных взглядов, а заодно – и от мира, от всей нормальной человеческой жизни, которая для меня в тот момент и кончилась. Или, по крайней мере, так мне долго потом казалось.

Тем временем мой красавец продолжал вести со мной свою издевательскую беседу.

– Нэхорошо получается, Сашенька, – не спеша декламировал он и укоризненно качал головой в такт. – Разве ты не знаешь, что на Кавказе отказаться от угощения или гостеприимства – страшное оскорбление? Разве тебя папочка с мамочкой этому не научили?

Так он пудрил мне мозги, а сам в то же время делал какие-то знаки своим сообщникам.

– Я не...

Почему я все еще пыталась с ним объясняться, когда нужно было кричать «караул», до сих пор не понимаю. Наверно, обратная сторона хорошего воспитания. Непреодолимый рефлекс такой – отвечать человеку на вопрос.

Но я, собственно, и ответить-то не успела, потому что ровно на словах «я не» какая-то железная рука заткнула мне рот и нос тряпкой, пропитанной чем-то невероятно вонючим. Попыталась я тряпку от лица оторвать, но куда там – железные пальцы обхватили мои руки, кто-то двумя движениями разорвал рукав, и в локтевой сгиб вонзилась игла. Еще секунду или две я продолжала бессмысленно сопротивляться, пытаюсь вырваться. А чернявый красавец принялся считать, почему-то по-японски:

– Ич, ни, сан, си, ого, роко, сичи, хачи, кю, жю...

И где-то уже с «ого, роко» голос его стал от меня отдаляться, звучать все тише и глуше, как будто я проваливалась в какую-то вату. А заодно уже и свет божий начал меркнуть потихоньку, и, главное, мне все вдруг стало все равно, и я с полным безразличием к жизни, смерти и всему прочему погружалась уже без всякого сопротивления в густую, липкую, противно теплую темноту.

Глава 3

С.

На следующий день я отправился в чужое отделение, в распоряжение старшего оперуполномоченного Чайникова (по кличке, разумеется, Чайник). Но вообще-то это был умный парень, хитрый и не злой. В отделении его любили, тем более что он ловко изображал из себя какого-то сексуального чудака. То, что он без мата слова сказать не мог, так таких у нас хоть пруд пруди. Но он приобрел совершенно беззлобную, ласковую манеру материться. Кроме того, изображал постоянную сексуальную озабоченность, но тоже лишённую агрессии и физического напора. Так, постоянное зубоскальство на половые темы и добродушно-лукавое комментирование событий при появлении в поле зрения объектов противоположного пола. Так что попасть в распоряжение Чайника было большой удачей. Причем я понятия не имел, чем мы с ним должны заниматься – Михалыч, как всегда, напускал таинственности, хотя наверняка речь не шла о похищениях иностранных дипломатов. Так, что-нибудь канцелярское.

Ну, в общем, именно так оно и оказалось. Нам с ним было поручено разбирать дела «заснувших» агентов – тех, кто по той или иной причине давно, несколько лет уже, не написал нам ни строчки.

– Скучное дело! – сказал я, как только Чайник посвятил меня в производственную тайну.

– Вовсе, блин, нет, – возразил Чайник, – тут кое-что очень даже заедрательское может найтись.

Но все же, когда я увидел горы пыльных папок, разложенных для нас с Чайником на трех столах, я приуныл.

– Я думал, хоть часть будет на компьютере, – вздохнул я. – А тут... замучаешься пыль глотать.

– Ничего, ничего, я лично люблю папочки полистать. Машу пальцем не испортишь.

И действительно, Чайник самым натуральным образом послонявил пальцы и раскрыл верхнюю папку с ближайшего стола.

– Погодите, погодите, товарищ майор, – взмолился я. – Задача не совсем ясна. Каковы критерии отбора? Я же никогда этим делом не занимался! То есть: что ищем?

– А тебе что, ничего твой Михалыч не объяснил? – удивился Чайник.

– Нет, ему некогда было, он на совещание опаздывал.

– Ну ладно, объясню для умных и для мудачков. Задача: быстро просеять всю эту хурду – за день двести дел! – и выявить тех агентов, кто может представлять серьезный оперативный интерес. Кроме того, теоретически может и информация какая-нибудь необыкновенная попасться. То есть, по идее, ничего такого здесь не должно быть, разве что по разгильдяйству. Это так... зачистка. После нас никто больше смотреть не будет, отправят, нах, прямиком в архив. А там – все равно что в землю закопать. Так что это последний шанс извлечь что-нибудь из этой кучи.

Чайник иллюстрировал изложение нежно произносимыми уменьшительно-ласкательными матерными словами. Он говорил: «херочек», «мудачок», «блядушка». И даже более стандартные матерные слова-заменители, например, «захерачили» вместо «отправили», произносил так ласково и нежно, что они начисто лишались всякой матерной злобы и агрессии. Вместо «замучаешься» он придумал какой-то немыслимый глагол «заедрешься».

– Слушай, Санек, – говорил он, – ты, смотри, не тушуйся, не боги же горшки... Что они там делают с горшками-то, извращенцы?.. Ты – опытный опер, так что решай смелее. Много времени на каждое дело не трать, а то мы тут до пенсии проедемся. Показываю: берешь лядскую папочку, листаешь, читаешь, да, сначала в списке – видишь список-то? – напротив номера галочку проставляешь... Вот, например, вот это – 33637, и какие-то буквы еще есть. Е-Б-М... Не, я серьезно, посмотри, если не веришь.

– Верю, верю, – сказал я торопливо.

Чайник перелистал несколько страниц и сказал:

– Гляди-ка, тут одна... псевдоним Антонина, на своего мужа писала несколько лет. Скажу точнее: два года и семь месяцев писала. Высказывания его всякие фиксировала нехорошие... Непатриотичные. Вот тут в одном месте так вообще – просто преклонение перед Западом... Ну вот, писала-писала, а потом перестала. Как ты думаешь, почему?

– К другому ушла... или развелись, – предположил я.

– Нет, просто мы мужа ейного с руководящий должности задвинули – нечего родную власть ругать. И тут же – понимаешь, тут же! – роман мужа с подчиненной Шуваловой немедленно прекратился! Каково, а? И человек сразу же вернулся в семью! Ну а Шувалова эта... красивый небось бабец, по всему чувствуется, хороша... Чего только ей этот старый хрыч, чужой муж, понадобился? А потом вот раз – и стал без надобности. Вообще, ты заметил, как только наш брат мужик должность теряет, так сразу его привлекательность для противоположного пола снижается в разы. Я думаю, это не из-за корысти, а потому, что власть – мощнейший сексуальный магнит, посильнее, чем там нос особый, или зубы, или глаза какие-нибудь жгучие. То есть, ежели тебя понизили, считай, сразу уродом стал из красавца.

– Ну да, – согласился я, – таким же образом и наша принадлежность к Конторе на некоторых действует... Даже больше тебе скажу. Я думаю так: достаточно, чтобы ты сам себя ощущал конторским, носил в себе эту силу, эту власть, чтобы бабы это чувствовали.

Чайник взглянул на меня с интересом, как будто я его слегка удивил, как будто он впервые меня увидел, потом почесал ухо, подумал и сказал:

– Не, не все... Не все это чувствуют...

– Да, только бабы особенной породы.

– Может, ты и прав... Насчет особой породы. Но относятся они к ней или нет, иногда не сразу поймешь.

– А иногда, – вдохновенно подхватил я, – взглянешь на нее, родимую, принимаешься и сразу чувствуешь, эта – наша, эта – поймет и оценит.

Чайник опять посмотрел на меня удивленно, дескать, не ожидал я от этого тихони... Потом тряхнул головой, как будто отгоняя запретные мысли, и вернулся к основному сюжету:

– Так вот, стало быть, подчиненная Шувалова идолопоклонника нашего этого ценила-ценила, а потом разом ценить перестала – как только его из кабинета турнули. И жена тут же стучать на него бросила – а зачем? Так и так, говорит, вынуждена я свою оперативную работу прекратить... здоровье там, нервы, ну и все такое. А чего ей, она теперь, думаю, из него, голубчика, такие веревки вьет... Во он у нее где!.. диссидент наш раскаявшийся.

– А он раскаялся? – решил уточнить я.

– А хрен его знает.

– Слушай, так, может, он и знать не знал ни про какие свои эти... высказывания?

– Может, и не знал. И пребывал в полном недоумении: за что это его, бедолагу, понизили.

– Может, – развил я мысль, – и высказываний никаких не было, а?

Чайник ответил не сразу. Вынул платок из кармана, высморкался и сказал:

– Было, не было... Какая разница? Зато органы семью спасли, разве плохо?

Чайник зашвырнул отработанную папку на свободный стол и принялся за следующую. На нее у него ушло и вовсе секунд тридцать.

– Х... х... ерунденция какая, – огорченно бормотал он, берясь за третью.

Напрасно я ждал, что он со мной поделится, в чем «херунденция» состоит. И я понял намек, сам схватился за следующую папку.

Мне для начала попало нелепое какое-то дело. И кличка у агента была необычная – Пестель (а что, с другой стороны, может, и нормальная кликуха, если подумать. Говорят, декабрист Пестель и его товарищи в случае своего прихода к власти собирались что-то вроде ВЧК и ГУЛАГа сразу же и учредить. Получается, повернись история по-другому, прогресс российского общества мог получить резкое ускорение!). Так вот. Писал товарищ Пестель, писал нам про своих университетских товарищей и про преподавателей тоже, а позднее и про коллег по НИИ писал, а потом вдруг взял и писать перестал. То есть не совсем, конечно, вдруг. Сначала он стал уклоняться от встреч с куратором, потом и вовсе ему нагрубил пару раз. Ну, и потом, соответственно, все: поставили наши на Пестеле крест. Но что-то, конечно, осталось тут за кадром, недосказанным, недообъясненным, с чего это вдруг человек взял и переменялся? С чего это ему роль стукача вдруг разонравилась?

– Я не думаю, что люди меняются, только обстоятельства, – оказалось, что мысли Чайника шли параллельным потоком.

Ну, вообще, если говорить честно, нормальный, средний оперативник стукачей, конечно, слегка презирает, но показывать этого категорически нельзя. Наоборот, инструкция учит, что агентов надо постоянно морально стимулировать, хвалить по поводу и даже без, преувеличивать их всемирно-историческое значение, просто льстить им в глаза. Ведь, понятное дело, нет-нет да могут посетить их всякие сомнения и рефлексии. И этим метаниям надо уметь психологически противостоять. Материальный стимул, понятное дело, тоже важен, но моральный бывает даже важнее, особенно для разночинцев-интеллигентов. Поэтому всякий там намек на брезгливость к агентам надо прятать глубоко-глубоко, даже от самого себя. Иначе льстить убедительно не получится.

Но все-таки это презрение где-то живет, в глубине, и нет-нет да вырвется наружу. И потому, наверное, наш брат так любит провинившихся агентов потоптать, особенно тех, кто пытается завязать. У-ух, на этих мы оттягиваемся как следует! Ах ты, проститутка, в честные женщины захотела? Так получи же!

Но работы так много, что сил на каждого не хватает, и некоторым удается сорваться с крючка относительно безболезненно. Как этому вот голубчику, Пестелю. И все-таки страшно интересно, что с ним такое произошло. Угрызения совести? Женщина? Обида? Или просто куратор попался тупой? Похоже на то, кстати, потому как оперуполномоченный старший лейтенант Харчев явно двух слов связать не может. Оставленные им в деле размышления путаются между «в связи с тем», «вследствие того», «ввиду вышеизложенного» – что хочет сказать, непонятно. Ну а потом вдруг взял и обозвал агента Пестеля иностранным словом «неврастеник»! Ну, понятное дело, неврастеник, кто же он еще... кто еще в своем уме... Нет, лучше додумывать не буду, для здоровья вредно, строго оборвал себя я.

Во второй папке дело было и вовсе тоненькое. Какой-то работяга с цементного предприятия инициировал контакт с органами, чтобы сообщить о вредном анекдоте, рассказанном начальником смены Ободовым. Анекдот такой: «Алло, это Абрам Моисеевич? Нет, это КГБ. А кто говорит? Говорит Москва! Московское время шестнадцать часов!»

Ну, вообще, не самый страшный анекдот. Бывают хуже. С явным уважением к органам и даже с намеком на некоторый элемент здорового антисемитизма. Все последующие попытки куратора выбить из работяги что-нибудь ценное или хотя бы связанное увенчались полным провалом. Про Ободова было только с достоверностью известно, что он страшно ругается матом, особенно на самого автора, якобы вечно к нему придираясь. Но постепенно

кое-что становилось ясно. Вдруг оказалось, что ругань в основном связана с моментами, когда агент опохмеляется в рабочее время. Ну, и контакт постепенно сошел на нет... Но закрывать дело совсем куратор все же не спешил, тянул чего-то... Признаться не хотел в неудаче, что ли? Может, так, а может, тут что-нибудь и похлеще?

– Как думаешь? – спросил я более опытного товарища.

Чайник немедленно врубился в ситуацию и нарисовал такую гипотезу. Например, представим себе, что начальник работяги на заводе товарищ Ободов вдруг и сам является агентом. Но завербован он давно, много лет назад и не кем иным, как нынешним начальником отделения, товарищем майором, назовем его, к примеру, Уевым. И Уев этот теперь, в свою очередь, командует молодым, подающим надежды специалистом – старшим оперуполномоченным, капитаном, товарищем, скажем, Еровым, который и ведет, собственно, работягу с цементного. То есть все по справедливости – начальника курирует начальник, а подчиненного – подчиненный. Но вот представьте себе на минутку, что у майора Ерова с капитаном Уевым не сложилось. Что кто-то кого-то немножко подсиживает. Или, наоборот, выпил, может, кто-то чуток на рабочем месте. И схлопотал выговорешник. Премии человека, может быть, лишили. И вот тут-то как раз поступают сведения, что любимый агент начальника отделения рассказывает вредоносные анекдоты. Как, кстати-то. Но, увы, подвел работяга капитана Ерова, слабоват оказался. Ни воображения, ни чувства политической ответственности, один алкоголизм. А майор Уев тоже не лыком шит и времени зря не теряет. И вот начались тут у голубчика Ерова всякие недоразумения да неприятности... и перевели его, болезного, работать на периферию, на какую-нибудь очень ответственную должность в дальневосточном, например, управлении... А дело осталось дожидаться момента естественного убытия в архив. Что, скажешь, неправдоподобно? Правдоподобно, согласился я, слышал о похожих случаях, слышал.

– Ну, это так, гипотеза. Может, совсем и в другом дело, но что-нибудь такое-этакое на втором плане, чую, имеется, – сказал Чайник, потом вдруг резко замолчал, делано зевнул, отвернулся... вспомнил небось, что не так уж хорошо меня знает, и, посуровев, пробормотал:

– Давай, знаешь, не отвлекайся... а то мы тут с тобой до третьего пришествия...

Стали мы с Чайником папки листать старательно, но я, честно говоря, не так чтобы очень вчитывался, понятно ведь, что в основном отстой какой-то, бессмысленный расход денег, умственной энергии и бумаги. Кинул я очередную папку на архивный стол и вдруг, не знаю сам, с какого такого перепуга, сказал:

– А как ты думаешь, сколько всего у нас стукачей?

– Ну ты, парень, даешь! – поразился Чайник. – Это же государственная тайна! Ее, может, только на самом верху знают. Ну, а если бы я даже знал, ты что же думаешь, так прямо взял бы тебе и сказал?

Вижу, Чайник сердится, даже матом ругаться перестал. Бойтся, видимо, что я его провоцирую. Ну а даже если от простодушия, думает он про меня, так это простота, которая хуже воровства. И, в общем, он, конечно, прав. Но я чего-то завелся, остановиться не могу.

– Ну, как ты думаешь, из самодеятельного населения какой процент? Каждый пятый? Или третий? Или второй? У тебя часто один агент на другого стучит? У меня случается... А это значит, что...

– Замолчи! – повысил голос Чайник. А потом говорит: – Ты здесь посиди, остынь, а я пойду покурю.

И вышел. А я листаю очередную папку и думаю: хорошо все-таки, что я курить бросил. И еще: а чего, собственно, мне на Чайника обижаться? Да и ему на меня злиться нечего. Что я такого ужасного сказал? Предположил, что у нас агентов, то есть добровольных сотрудников, много? Так их и должно быть много! Разве в вышке не учат, что органы – ум, честь и совесть нашей эпохи? И что помогать им – священный и патриотический долг? Так что

же ужасного в том, чтобы предположить, что общество достигло столь высокой гармонии? Может, это как с сексом? Все понимают, что это самая замечательная вещь на свете, но вслух говорить – ни-ни! Ну, и потом, насчет провокаторства... А что это, собственно, такое? Всего лишь дурацкое эмоциональное фразерское слово. Подобное занятие можно совсем иначе назвать – «специальный метод выявления скрытого противника». Вполне даже профессиональное поведение, между прочим. Многие из наших этим занимаются даже просто на досуге – бессознательно, по привычке. Но почему-то не хотелось мне, чтобы Чайник так обо мне думал. Как о таком вот профессионале. Хотя почему бы и нет? Что зазорного-то? И потом, кто он мне, Чайник этот? Ни сват, ни кум, ни брат. С какой стати сантименты такие? Все-таки с нервами у меня в последнее время определенно что-то не то стало.

Чайник вернулся и молча принялся папки листать. Только сопит и по стулу ерзает. Листаем мы оба, сопим и молчим. Потом вижу: Чайника распирает, на что-то такое натолкнута, чем ему не терпится поделиться. Наконец он вдруг выругался витиевато и говорит:

– Во, блин, дают!

– Что там такое?

– Да представляешь, тут один мучудак оперативнику взятку предложил!

– Да ты что!

– Да запросто! Сначала писал на своих соседей, писал, уж такими врагами народа их рисовал, что куратор стал подозревать корыстный интерес. И точно, выяснилось: на квартиру претендует. Он даже и признался: для дочки с внучкой, не для себя, говорит. У дочки здоровье слабое, муж бросил, ей помощь нужна, внучка тоже болеет, места в детском садике давно ждем. А соседи, они точно люди нехорошие, евреи к тому же.

– Что, и на самом деле евреи?

– Да нет, конечно! Скажешь тоже... Не половинки даже... И вообще, ничего на этих самых Ахромеевых по другим источникам не приходило. Опер даже решил подослать к ним другого, опытного агента, чтобы спровоцировать на высказывания. И что ты думаешь – ни ера не вышло, дохлый номер! Агент их провоцировал-провоцировал, всякие им там идеи, как полагается, подкидывал, но они всей семьей знай вежливо кивают и на все говорят: не нашего ума это дело.

– Можно было бы, в принципе, их привлечь за недонесение...

– Ну да, теоретически можно было бы, наверно... Но сам понимаешь, это было бы уж очень нарочито. Вот тогда наш герой, кличка Иртыш почему-то, и предложил оперу десять тысяч, чтобы он Ахромеевых сгнобил. Но наш опер честным оказался.

Тут я опять брякнул, что было на уме:

– Слушай, майор, а как ты считаешь, часто бывает, что в таких случаях оперы деньги берут?

Чайник глаза сузил и ответил вопросом на вопрос:

– А ты сам как думаешь? Часто?

Ишь ты, восхитился я про себя, грамотно! Вернул Чайник мяч на мою половину поля. И говорю:

– А я думаю, что бывает. Как часто – не знаю. Надеюсь, что не очень. Но в принципе, никто же не утверждает, что все офицеры, как один, ангелы во плоти. Периодически кого-то выгоняют, сажают, расстреливают. Так что главное – бдительность не терять.

– Вот именно! – обрадовался такому исходу разговора Чайник.

Мы опять помолчали, пошуршали папками. А тут и я кое-что интересное надыбал.

Отец и сын одновременно друг на друга стучат! То есть, по правилам, сообщения двух разных агентов должны содержаться в двух разных папках. Но в данном случае опер, с благословения, надо думать, начальства, сделал исключение. Правда, особой оперативной ценности в их работе я не нашел, сколько ни листал. Просто смешно. Отец пишет: «В прошлую

пятницу гражданин Масленщиков А.Г. слушал в своей комнате записи американской музыки с завываниями и криками, пил водку с тремя подозрительными типами и вел нездоровые разговоры». Какие нездоровые разговоры, не уточняется. А сын тут же: «Гражданин Масленщиков Г.А, в прошлую пятницу читал странную книгу без обложки, возможно изданную в нехорошие времена или за границей, а затем сел писать, тщательно закрывая лист бумаги рукой, чтобы нельзя было прочитать, что пишет».

– Уйня, – сказал Чайник, – вот если тебе попадет такое дело, чтобы муж и жена друг на друга одновременно, то дай посмотреть. Это не так часто бывает.

– Тебе что, любопытно, что ли?

– А ты что, не знаешь, что ли? У меня же кандидатская защищена: «Половые различия в агентурно-оперативной работе».

– Ух ты, ну ты и даешь! Ты, значит, кандидат! – вскричал я. – Это просто отличная тема, очень важная. Может быть, важнее даже не бывает!

– Вот именно! Я тебе знаешь что скажу: с бабами, особенно инициативницами, которые сами просятся, надо быть чрезвычайно осторожными. Была бы моя воля, я их вообще никогда бы не использовал. Ну, кроме каких-нибудь совершенно исключительных случаев разве что.

– Ты просто этот... как его... в Америке говорят: мужской шовинист-свинья, вот ты кто!

– Мы, слава богу, не в Америке живем... А поступаем иногда прямо как придурки пиндосы. Нет, в самом деле. От баб толку нет. Нет, ну правда, скажи, у тебя был хоть один случай, когда на бабу можно было до конца положиться, чтобы с ней работать всерьез годами? Нет, обязательно или она кого-то там полюбит, или кого-то она, видите ли, разлюбит, или еще, чего доброго, начнет к тебе самому приставать.

– Ты же сам учишь: если женщина мнется, ее надо погладить! – вспомнил я любимую прическу Чайника.

– Ну да, ну да! Только не в оперативной же ситуации! Нет, ей-богу, баб надо исключить. Как вот психиартов нельзя вербовать без особого разрешения, так вот и с ними надо сделать.

– Не любишь ты их, Чайник! Баб, я имею в виду, а не психиартов.

– Да, я их всегда недолюбливал – времени не хватало!

Я засмеялся, и Чайник за мной следом, потом он еще посопел-покряхтел, посмотрел хитро и сказал:

– Наколка – друг чекиста, срабатывает чисто. Не буду тебя дальше наобывать, а то ты всем расскажешь, и надо мной смеяться будут. Ну, посмотри на меня, разве я похож на кандидата, едренить?

Ну, тут мы с ним поржали вволю. А я сказал: и все-таки жаль, тему бы эту надо покопать!

– Не бойсь, без нас теоретики-аналитики покопают.

– Так то аналитики! А надо бы с позиций практики.

Мы еще посмеялись, уже просто остановиться не могли.

Хороший парень все-таки этот Чайник. Надо с ним выпить как-нибудь, думал я.

До конца дня мы с ним листали папки уперто, старались, наверстывали упущенное, тратили не больше двух минут на каждую. Так, заглянешь, считаешь, увидишь уровень сообщений соответствующий и хрясь на стол – в архив! Так я чудесным образом уже почти достиг плановой цифры, как споткнулся на одном деле. Читаю – и глазам своим не верю!

– Слушай, – говорю я Чайнику, – здесь психиарта вербанули!

– Не может быть! – отвечает Чайник. – Ты ничего не перепутал? Или, может, опечатка? Это часто бывает. Хотят написать: психиатр, это такое старинное название профессии врача

по сумасшедшим... Да ты без меня знаешь.... Ну так это запросто. Переставят две буквы местами, а народ пугается...

– На, посмотри сам, если не веришь.

Чайник схватил папку, почитал и говорит:

– Ну, это же не действующий психиарт. Это – расстрига. Теперь вот в школе преподает. И обрати внимание, это не все дело, а только третий том. Два первых, можешь не сомневаться, уже списаны в архив спецотделом. А этот к нам, видать, попал по ошибке. И теперь надо его отправить вслед за первыми. И все дела.

Вижу я, лень Чайнику спецотдел оформлять. И наверно, прав он, бессмысленно все это...

– Думаешь, списать, и все? – Я взял у него из рук папку, раскрыл, вижу: во дела-то: учетная карточка агента в папку почему-то подклеена! Вот разгильдяи-то! Так спешили, что ли? По-хорошему надо бы отдельно заактивировать факт грубого нарушения правил хранения секретной документации. Но Чайник почему-то молчит: то ли не заметил, то ли лень ему связываться. И тут я вдруг, сам не знаю почему, «сфотографировал» карточку и две первые страницы дела, заложил в память, недаром же у меня в вышке всегда было «отлично» по мнемотехнике... Запомнил кличку, адрес и имя агента, звание и имя оперативника. Изобразил равнодушие, швырнул папку на архивный стол...

Почему-то мы потом долго молчали, с отвращением перебирали папки, хлопали ими по столу. И у меня вдруг опять начался приступ тоски, так все противно стало... Даже Чайник мне как-то разонравился. Да и устали мы физически. Пальцы стали отсыхать. Ну, он и уговорил меня пойти покурить. То есть постоять с ним за компанию, пока он дымить будет. И вот стояли мы вдвоем у окна на лестничной площадке седьмого этажа гастронома, смотрели вниз на унылую, засыпанную грязным снегом площадь и копошащихся внизу муравьев. Стояли и молчали, думали каждый о своем. И тут я возьми и брякни:

– Вот бы выпрыгнуть сейчас из этого окна с мини-планером и покружить над памятником Дзержинскому, потом пролететь над «Метрополем» и опуститься перед самым Мавзолеем. Представляешь, как у народа челюсти отвиснут! Сколько людей будут это всю жизнь вспоминать, детям и внукам рассказывать. И может быть, даже про Контору станут чуть-чуть иначе думать.

Сказал и сам перепугался: что я несу! Посмотрел на Чайника, увидел, как лицо его перекосилось, представил себе ясно, что в голове у него сам собой складывается рапорт. Вообразил даже, как он повторяет про себя мои слова, чтобы запомнить все как можно точнее («... вот бы выпрыгнуть из этого окна... чуть-чуть иначе думать станут...»).

– Что напрягся? Рапорт сочинишь? – Я посмотрел Чайнику прямо в глаза и даже представил, как выну сейчас из кармана нож и воткну ему в живот. Но Чайник взгляд выдержал, не дрогнул, мысль «срочно надо рапорт писать, прямо сегодня вечером» спрятал так глубоко, что самому не достать. Засмеялся, как учили на «Белорусской», – расслабленно-беззаботно. Сказал:

– Ты что, перебрал вчера сильно?

Отвернулся, подставляя мне незащищенный бок, снова уставился в окно. Что он там интересного увидел, думаю, представляет, как я над Лубянской парю? Так хоть бы улыбнулся тогда.

А он как раз взял и улыбнулся. Я тоже посмотрел на тоскливую серую площадь внизу и говорю:

– Почему это все бабы в Москве стали такими уродливыми?

– Зима, – серьезно ответил Чайник.

Я засмеялся. Смеялся и думал: напишет Чайник на меня рапорт или нет? По логике, должен написать, обязательно.

Но Чайник рапорта не написал. Лень, что ли, его одолела, хотя ведь всего-то пятнадцать минут работы. Но все, наверно, находились какие-то дела да случаи... Так, по крайней мере, я себе это представлял. Но это поразительное обстоятельство – что он поступил так рискованно и, в общем-то, непрофессионально – надолго выбило меня из седла. Я потом ходил сам не свой, все думал: по логике – должен же был написать! Глупость какая.

Но все эти сложные размышления были потом, а в тот вечер я приказал себе об этом забыть. Мы сухо попрощались с Чайником до следующей пятницы, когда должны были продолжить наши игры. Я шел домой и пытался избавиться от тоски, подозревая, что без серьезной выпивки не обойдется.

Но только я отпер дверь в свою квартиру, как ощутил: что-то не так. То ли звук какой-то до меня донесся, пока я в замке ключом ковырял, то ли запах я ощутил чужой, то ли просто пресловутая интуиция сработала, но только вдруг точно ударило меня что-то по надпочечникам, и адреналин хлынул в кровь. Затворил я дверь тихонечко, стою в полумраке прихожей неподвижно и слушаю. Стою и думаю: господи, хоть бы чертова интуиция меня на этот раз подвела, хоть бы оказалось, что это мои разгулявшиеся нервы виноваты и никого в квартире нет. Или пусть даже – черт с ней! – будет так, что жена раньше времени вернулась, меня не предупредив.

Минуты не простоял, как из гостиной отчетливо донеслись звуки. Кто-то там возился, шелестел газетой, что ли. В общем, никаких сомнений больше быть не могло. В квартире кто-то был, так что вариант с больными нервами отпадал. На жену тоже было мало надежды, хотя могла бы, между прочим, хоть разок озаботиться, попытаться поймать меня с поличным, как другие жены, говорят, делают. Но от моей не дожدهшься, клуша такая.

Я стоял, вслушивался в странные звуки из гостиной, пытаюсь определить, сколько там людей и чем они, собственно, заняты. Таким вещам ведь нас тоже в вышке учили. Выходило вроде так: человек был, скорее всего, один, и он, видимо, неподвижно сидел или стоял, хрен его знает, меня, значит, поджидая. Где-то справа от двери, судя по всему. В районе журнального столика, предположительно, сидит в кресле, высчитывал я. Ну и что, Санек, делать будем, поинтересовался внутренний голос. Пистолет-то, как водится, у тебя в сейфе, на работе. А по единоборствам – кто еле-еле зачеты сдавал, а? Пренебрегал, пренебрегал физической подготовкой! Нет, просто даже интересно посмотреть, как ты выпутаешься теперь. Если, например, там вооруженный грабитель. Или какой-нибудь диверсант. Ну, это уж вряд ли, огрызнулся я. Взял с горя и снял с крючка в прихожей деревянную вешалку – ничего умнее не придумал. Сделал один осторожный шаг по направлению к гостиной, аккуратно переставляя ноги. Постоял, послушал – все то же самое, легкое шуршание доносится, и тишина.

Ну, вообще!

Сделал я еще шаг. И еще один. Дверь все ближе. Наконец, вобрав в легкие побольше воздуха, чтобы быть готовым к атаке, пододвинулся вплотную к двери. Просунул голову в проем. Увидел часть журнального столика и кресло, вернее, только его небольшую часть. И женскую ногу увидел – в черной лакированной туфле, очень стройную, с изумительным коленом – такой красоты, что из меня даже весь воздух сразу вышел. Я подумал, все, кранты, снова вдохнуть уже не удастся. Но нет, кое-как сумел. Вдохнул и смело шагнул вперед.

А дальше ничего не помню. То есть вообще, аб-со-лют-но ничего.

Глава 4

Ш.

1

Я увлеклась собственным рассказом, расчувствовалась, даже не сразу заметила, что Нинка недоверчиво крутит головой.

– По-моему, Сашка, ты у меня баронесса все-таки, – говорит.

Я нахмурилась, смотрю на нее недоуменно, даже с раздражением. Что это еще за глупости такие она несет.

– Какая баронесса? О чем ты, подружка?

– Баронесса Мюнхгаузен, вот какая!

И смеется. Демонстрирует, что тоже на литературные аллюзии способна. Не все же мне одной ими баловаться... Но только глупо у нее это выходит, честно говоря.

Махнула я рукой.

– Не веришь, не надо. И рассказывать дальше не буду. Мне даже легче...

– Не обижайся! – поменяла тактику Нинка. Даже за руку меня взяла проникновенно.

Говорит:

– Ну просто действительно это кажется невероятным... В наше-то время... Это в фильмах только бывает – похищения и всякое такое... Но я слышала, что на Кавказе до сих пор случается – невест похищают...

– Ах, каких невест, – говорю, – каких невест! Если бы! Это чеченские сепаратисты были...

Нинка даже поперхнулась.

– Кто?! Какие еще сепаратисты? И что им за нужда была тебя похищать?

– Ну как... единственная и горячо любимая дочь президента Академии наук, всемирно известного ученого... Резонансная могла выйти штука... Самое смешное, что они понятия не имели, что ровно к тому моменту Фазера моего из Академии турнули... Когда я им об этом сказала, они не верили, думали, я вру... Снимали-то его по-тихому. Долгое время даже в печати ничего об этом не было. Когда все-таки убедились, что я говорю правду – в «Известиях» заметка про выборы нового президента появилась, я думала, может, они меня отпустят по этому случаю... Но куда там...

– И что, что было потом? Как ты спаслась-то? – Глаза у Нинки загорелись, вроде поверила наконец.

Я встала, налила нам обеим по полному бокалу муската. Свой выпила залпом и сказала:

– Ты слышала, что такое Ливанский синдром? Его еще Стокгольмским называют.

– Стокгольмский? Кажется, что-то такое слыхала... Какая-то болезнь хитрая, что ли?

– Болезнь... почти... психологическое извращение... но это я сейчас так рассуждаю, а в то время... Чернявый мой, Рустам, сумел меня в себя влюбить... Нет, это даже не влюбленность была, а хуже... гораздо хуже... Большая одержимость... Странная такая штука... Синдром этот... Ненавидела я его поначалу страшно, руку один раз искусала так, что кровью всю комнату залило... У него на всю жизнь шрамы остались. Но именно после этого я вдруг стала ощущать что-то такое... какую-то зависимость. Не могу объяснить. Точно я, выпив его крови, заразилась чем-то.

– Как у вампиров! – воскликнула Нинка.

– Вот именно, мне это и самой в голову приходило. Даже нравилось так думать. Что-то такое замкнуло в голове – стало нестерпимо хотеться укусить его снова.

Нинка реагировала на это уже не словами, а звуками.

– Ч-ч...

Только и смогла произнести. И рот рукой зажала. А глаза стали круглые-круглые. Как у дуры. Я еще подумала: а может, она и есть простая, обыкновенная дура? Перед кем я тут распинаюсь и зачем? Но мысль эту я тут же отогнала, как недостойную ситуации.

– Да, да, представь себе! Лежала часами, отвернувшись к стенке, и воображала, как кусаю его. Как зубы мои вонзаются в его плоть... в руку, ногу, в живот... о-о, у него такой замечательный плоский, сильный, мускулистый живот... Я таких не видала никогда... Какое наслаждение вонзиться в него зубами... И кровь красная-красная брызнет... и я вся в его крови... целую его в лицо... и все лицо его красивое, надменное – в крови, и он пугается... но поздно... я кусаю его губы... О-о, у него, мерзавца, такие губы были чувственные... Я глаз от них оторвать не могла. Он, по-моему, смущался слегка... хотя ему смущение совсем не свойственно. Но тут он просто не знал, что и думать, что мои взгляды значат. Один, без сопровождения, в комнату, в которой меня держали, больше не заходил. И даже в присутствии других держался от меня подальше, невольно руку прятал за спину. Боялся, гад. Рука у него долго в бинтах была. А когда бинты сняли, под ними обнаружили те самые шрамы. Безобразные, красно-белые. Вздувшиеся такие рубцы. И он снова руку прятал за спину. Чтобы я не видела, чтобы не торжествовала. Не радовалась. А я на руку не особенно-то и смотрела. Все больше на губы. Наконец однажды он не выдержал, говорит:

– Объясни, что это значит? Что ты смотришь так?

Я свои губы облизала и говорю:

– Как? Как я смотрю?

– Ну, тяжело как-то... И все мне в рот... как будто...

– Да, – говорю, – мечтаю я...

– Мечтаешь? О чем?

– А ты наклонись, я тебе скажу на ухо. А то вслух не могу. Вдруг услышит кто-нибудь.

– Ну уж нет, я уже имел удовольствие близко оказаться...

– Тоже мне, джигит! – говорю. – Бабу боится! Даже подойти робеет, бедняга...

Всю болтовню про чеченскую борьбу за независимость я пропускала мимо ушей, хотя они и пытались меня агитировать с самого начала. Но потом... Нет, погоди, я сбиваюсь... Давай вернемся назад, к тому времени, когда я смогла укусить Рустама во второй раз...

– Ты опять его укусила? Но как же ты смогла? Неужели его уговорила наклониться?

– Ага, – сказала я. – Знала, чем его самолюбие задеть.

Тут я снова поднялась и налила себе еще мускату. Потом продолжила:

– Только он наклонился, я ему шептать стала всякие такие слова приятные: «...такой ты красивый... губы у тебя такие...» И он уже заулыбался, гад, чуть не мурлыкал от удовольствия. Расслабился... И тут я его – бац!

– Ой, да ты что, – заверещала Нинка, и от страха даже на диван с ногами забралась.

Мне стало нравиться, как она реагирует, как переживает. Но виду я не подавала. Продолжала спокойным, равнодушным тоном, как будто о прогулке в лес рассказывала.

– До губ я, понятное дело, достать не могла, но в ухо, когда он расслабился, впилась глубоко и крепко... Умирать буду, не забуду, как зубы мои в него входили... Как хрящик в ухе хрястнул.

– Какой ужас! – вскричала Нинка. – И что, неужели за это они с тобой ничего не сделали?

– Конечно, сделали! Ты не представляешь, сколько опять было кровищи... Как Рустам вопил – и от боли, и от неожиданности, и от унижения. «Убью, клянусь, убью тебя, как

бешеную собаку!» – кричал. И убежал – за пистолетом, надо думать. Ну, или за кинжалом. За секирой какой-нибудь. И пристрелил бы или прирезал, это уж точно, но старшие товарищи вмешались, умилили его. Сказали: рано еще, погоди, она нам может пригодиться. Потом тебе ее отдадим на расправу. Кроме того, Рустаму нужна была срочная операция – ухо спасти, а то оно болталось на каком-то кусочке кожи, как на веревочке.

Но это я все потом узнала, а в тот момент лежала и ждала смерти. В бога никогда не верила, а тут молиться принялась. К стенке отвернулась, глаза закрыла и молюсь. Причем, не поверишь, не спасения от гибели просила, а просто так, контакт устанавливала. Дескать, вот есть у Тебя такая. Таковская. Вот так звать. Свидетельствую почтение свое. Имей в виду на всякий случай. Если Ты все-таки есть, паче чаяния. И знаешь, что я скажу? Утешительно это было чрезвычайно. Даже уже вроде и не страшно стало. Или почти не страшно. Я вот с тех пор и в церковь иногда хожу, и пост соблюдаю. Ну, хотя бы ради того, чтобы, когда придет лютый час, легче было бы опять утешиться.

Тут застывшая было в ступоре Нинка зашевелилась, откашлялась и говорит:

– Ага, я помню, помню! Я еще удивилась тогда, что такая атеистка завзятая стала вдруг в храм ходить да свечки ставить. Ну, думаю, холерой поболееешь, так не то еще выкинешь... Но, ты говоришь, все-таки что-то они с тобой сделали за это? Наказали как-то.

– Да уж, сделали... уж наказали... Сейчас, вина еще выпью и расскажу, – пообещала я. – Только ты держись получше за стул. И дай тебе тоже мускатика плесну. Сейчас такое услышишь...

2

– Готова? Ну слушай...

В тот же вечер, поздно, я уже засыпала, отвернувшись к моей любимой стеночке, как вдруг – представь себе: в полной тишине раздается резкий, неприятный щелчок. Я приподнялась на кровати – насколько шнур позволял. Они же меня там шнуром каким-то привязали, хоть и не плотно, но движения ограничивал. Приподнялась и стала всматриваться в темноту. Ни черта не вижу. Секунду было совсем тихо. Знаешь, про тишину говорят, что она бывает – звенящая? Вот тогда-то я поняла, что это такое... Жуткая была тишина, в которой я ощущала чье-то присутствие, непонятно какими органами чувств, но совершенно определенно... Я полусидела на кровати, вслушивалась, всматривалась, не видя и не слыша. Ждала чего-то страшного. И оно последовало. Раздался резкий скрип – это открылась дверь. Тут меня от страха тряссти начало. Хотела закричать, но не смогла – голос не слушался. Только сипение получалось. «Это Рустам! Он пришел меня убить!» – пришло в голову. Я вдруг поняла, как он станет меня убивать – задушит, конечно. Подушку на лицо, пару минут нестерпимой боли, судорог, а потом я задохнусь, легкие разорвет – и готово! Я сбросила подушку на пол, хотя это и было глупо, что толку оттягивать лишние секунды этого беспредельного ужаса. Думала: скорей бы тогда отключиться – и все! Звук падающей подушки, видно, ускорил события. Одним прыжком человек оказался рядом со мной и схватил за горло. «Руками душить будет!» – пришла мысль. Пальцы у него оказались просто железные. Я их навсегда запомнила, эти пальцы – длинные, красивые, как у пианиста. Держал он меня за горло очень крепко, было немного больно, но сжимать до конца он почему-то не торопился. «Помучить хочет, поиздеваться», – думала я. Пыталась я оторвать его пальцы от своего горла, но куда там! «Вот так, сучка, больше не укусишь!» – шептал он достаточно громко, чтобы я слышала. Это действительно был Рустам, теперь я узнала и голос, и руки. Одной он держал меня за горло, а другой быстро развязывал шнур, которым я была привязана к кровати. «Что бы это значило?» – думала я. Неужели...

А он шипел: «Ничего, я справлюсь, я ведь и змей ядовитых ловить умею». Вот как. Оказывается, он обращался со мной как с гремучей змеей или гадюкой!

Рустам притащил с собой еще несколько метров жгута с петлей на конце, и петлю натянул мне на шею. «Ах вот как, значит, повешение!» – думала я, даже и равнодушно вроде бы. Устала уже бояться и трепетать. Быстрой бы уж, думала.

Да, да, подруга, я полагаю, это нормальная реакция, когда уже нет сил бояться.

Петля была устроена хитро: толстый узел давил снизу на подбородок, так что открыть рот было совершенно невозможно. Рустам посмотрел на мои телодвижения, говорит: «Я ж тебе ясно сказал: не укусишь! Только себе же больно сделаешь». Потом затянул второй узел петли под затылком. «Будешь дергаться – задушишься», – предупредил он вежливо.

И потом знаешь что случилось? Слушай же! Взял Рустам одним движением, как котенка, перевернул меня на живот и стал ловко – словно всю жизнь только этим и занимался – приматывать мои руки к стальным прутьям в изголовье кровати – причем, одной только левой рукой, а правой продолжал удерживать аркан, затянутый на моем горле.

Я действительно старалась не дергаться, не сопротивляться никак, чтобы не затягивать туже петлю, и так дышать было трудно. «А может, наоборот, наплевать? Может, лучше умереть достойно, чем терпеть такое унижение», – размышляла я, но к определенному выводу прийти не успела, слишком быстро он крутил свои узлы. Теперь он занимался моими ногами, привязывая их к чему-то, я уже не видела к чему. «Все, поздняк метаться», – хмыкнул. И принялся стягивать с меня юбку.

«Ах, вот оно в чем дело-то! – осенило меня. – Ну конечно, я ждала скорой смерти... разбежалась! Нет, сначала, естественно, будет надругательство!» Пыталась, пыталась я закричать, да что толку? «Сволоочь, подлец, негодяй!» – кричу, но получалось одно лишь мычание – петля надежно мне рот зажимала.

А Рустам, гад такой, издевается: «Мычи, мычи, сколько хочешь!» – и знай себе меня раздевает дальше. Но – представляешь, тоже мне мужик – с колготками не справился! Взял, мерзавец, и в итоге их просто порвал.

«Эх, если бы я могла тебя достать, подонок ты этакий, я тебе кое-что другое откусила бы», – размечталась я. Но куда там! Если бы он меня насиловал в позе миссионера, тогда возможны были бы какие-то варианты, но так, лицом вниз? Ноль шансов.

«Наверно, будет анал», – решила я. А ты же знаешь, Нинка, как я всю жизнь этого чертова анала боялась. Неприятна мне идея сама. Мало того, что это не очень эстетично, так просто опасно. Знаю, знаю, ты мне сейчас впаривать начнешь, что если осторожно, бережно, не спеша, то ничего и страшного... Что-то в этом есть. Что вы с Серегой практиковали. Пусть так, но лично мне неприятно даже помышлять... Считаю это моей личной идиосинкразией. Но тут, думаю, точно испытать придется, перед смертью-то. Иначе зачем он меня лицом вниз прилаживает. Что, анал не обязательно лицом вниз? Правда? Ну я не в курсе, если честно... В тот момент я не сомневалась. Уж хоть бы, думала, не бутылкой, лишь бы без окончательных зверств. Если живым мужским агрегатом, то еще так-сяк, хотя тоже радости мало... Но все же – лучше, чем посторонними бездушными предметами. Если из двух зол выбирать. Хотя какой там выбор? Я ведь никак на ситуацию повлиять не могла. Пыталась промычать что-то типа: давай уж тогда мясом в мясо, черт с тобой, раз на то пошло. Самому же будет... наверно, веселее, если без бутылок всяких... Пытаюсь ему это промычать, а он в ответ: «Ну, ну, мычи дальше, все равно я ничего не понимаю».

А я давно чувствовала, что красавчик Рустам меня хочет. Алчет. Вождедеет. Со страшной силой. В подтверждение маминых прогнозов, что восточные джигиты таких пышечек любят. Я даже думала: как только случай представится, он на меня, подлец, набросится. Поэтому и искусала его, гада, чтобы отомстить, заранее. Думала: вдруг потом и возможности-то не будет? Так что все по-своему логично получилось. Что, чепуху нес, ты считаешь?

Ну, может, и чепуху. Но я уже тогда не совсем адекватна была. А что, ты, что ли, ясность ума в той ситуации сохранила бы? Вот то-то же...

Ну, в общем, раздел он меня, трусы стащил до щиколоток.

Потом вдруг фонарик какой-то зажег. Но я-то только тени видела, в подушку лицом будучи воткнута. С челюстью, зажатой узлом веревки. А он меня не спеша разглядывает. Ну, то есть ягодицы, ноги, часть спины. А что, говорят, есть мужики, которым только это и надо – вид сзади.

Тут он вдруг взял и до пяток моих дотронулся. Потом присел на кровать. Говорит:

– Н-да... и что же мы видим... Ну... Ничего, ничего. Внушает. Особенно пяточки мне понравились. Очаровательные такие.

Я лежу в напряжении диком, ягодицы сомкнула как можно плотнее. И мычу: «Ы ыау ыа уам. Ы оол». Что это значило? Значило: «Я ненавижу тебя, Рустам, ты козел».

Но он все равно ничего не понял. Говорит: «Напрасно стараешься. Я этого языка не знаю. Если бы по-английски – еще куда ни шло... А на этом – ыном твоём – я ни гугу». И смеется, подлец. Я еще хотела его спросить, как ухо-то? Много ли обезболивающих глотать приходится и не вредно ли это для твоего драгоценного здоровья? Но не стала. Все равно не поймет ведь, дудак.

А он тут руку мне на ягодицы положил – меня сразу затрясло даже. От ужаса. Но он ничего никуда засовывать не стал. А принялся тихонечко гладить. Гладит, нежно так, ласково. Гладит и приговаривает: «Вот это попка! Всем попкам попка!» Рука у него теплая-теплая, даже горячая. «Да расслабься ты», – говорит. И вдруг я стала успокаиваться. Вопреки всякой логике и смыслу – ведь знала его манеру уже достаточно, чтобы несколько не обольщаться, не верить ни голосу медовому, ни прикосновениям нежным. Наоборот, когда он ласков – это плохо, признак особой опасности.

Умом-то я это понимала, но ничего поделать не могла: после пережитого ужаса организм вдруг раскис, расслабился. Плевать ему было, организму-то, на доводы разума. Он больше не мог в напряжении жить. Адреналин, наверно, кончился... И я точно поплыла куда-то далеко-далеко. Мышцы мои разжались, и он, гад, до ануса добрался. Там, ясное дело, масса нервных окончаний. И его нежные прикосновения стали вдруг меня пробирать – просто до мозга костей. В жар меня бросило. Стыдно мне, противно, но ничего поделать не могу. Только вопить пыталась: «О-о-от, о-о-от, о ы ээ!» То есть пытаюсь сказать: «Сволочь, сволочь, что ты делаешь!» Но он все равно ничего не понимает. И знай гладит-массирует меня. Там. Потом вдруг остановился. Говорит: «Что это с тобой, мать? Никак возбудилась? Неужели нравится?» Я пытаюсь головой помотать в знак отрицания, кричу: «Э, э, э-а-э-а! Ы ыэо!» – в смысле: «Нет, нет, не нравится! Ты – идиот!» Но он только смеется. Постепенно я опять как будто успокоилась, и он тоже. Помолчал, потом говорит другим каким-то тоном, злым довольно:

– Пора к делу. Тебя, Сашенька, папочка с мамочкой как в детстве наказывали? Ремнем пороли?

Ну, я на такой вопрос отвечать и не пыталась.

А Рустам говорит:

– Без слов вижу, что нет. По выражению затылка и обнаженных поверхностей. Неужели ни разу даже не выпороли? Ох, это они напра-сно. Древняя мудрость: кто жалеет розгу, тот портит дитя. И вот посмотри, что в результате выросло? Тьфу! Ну, ничего, пусть с опозданием, но узнаешь сейчас, что такое крепкая мужская порка.

Я лежала и не то чтобы очень боялась. После только что пережитого, после ожидания садистских пыток и мучительной смерти с порванными кишками, перспектива какой-то там, видите ли, порки, уже не пугала. Поду-умаешь! Мне, конечно, пробовать действительно не приходилось, родители были категорически против телесных наказаний и унижения деви-

чьего достоинства, но, если веками этому делу детей подвергают и те как-то это переживают, значит, не может быть это так уж страшно. Вот тебя, Нинка, ведь, кажется, одно время очень даже часто мамаша порола? Ты мне еще жаловалась и синяки на попе показывала. И ничего. Потом ты с мамочкой даже душа в душу жила, хотя мне она никогда, честно говоря, не нравилась... Но это я отвлеклась. Так вот, лежала я и думала, что можно, значит, эту процедуру вытерпеть. Ну, садишься же ты в зубо врачебное кресло. И улыбаешься дантисту, хоть и через силу. Я бы и Рустаму улыбнулась, если бы он меня развязал на минутку. Улыбнулась бы и тут же... Да, правильно ты угадала, откусила бы ему что-нибудь. Но развязывать меня в его намерения явно не входило. Ничего, думаю, раз пороть собрался, значит, не убьет. И вряд ли даже изнасилует. Хотя с этим еще до конца неизвестно. Не распалится ли от экзекуции, а то, я слышала, некоторых мужиков это дело сильно возбуждает. Но все же маловероятно. Скорее всего, такого компромисса достиг со своими боссами, старейшинами хреновыми, или кто они там... Раз убить пока нельзя, так разрешите хоть выдрать ее как следует... Нельзя же, чтобы такое хулиганство бабе с рук просто так сходило. Потом он подтвердил, что именно так все и было. Я все правильно угадала.

Да, да, порка таки действительно случилась. Так что я теперь девушка поротая.

Я лежала и слушала, почти равнодушно, как он орудие готовит, из брюк, вроде как ремень вынимает и – жих, жих! В воздухе пробует. А потом вдруг как заорет злым, не своим, визгливым таким голосом: «Сейчас получишь, стерва, что заслужила!» Ну и жаж! – да, скажу тебе, не ожидала я, что это так больно. Как стеганул меня поперек ягодиц, так обожгло, ой-ой-ой! Я от боли и от неожиданности даже закричала. А он распалится, видно. Кричит: «Будешь, сучка, знать, как кусаться!» И бьет снова. Думаю, изо всех сил. Потому что не может быть, чтобы обычные домашние порки настолько ужасными были. А он что-то кричит, по-чеченски, кажется, и лупит, и лупит... Я терпела, терпела, да и потеряла сознание. Может быть, все-таки не столько от боли, а от всего вместе, наверное – от переживаний, адреналинового шока, кратковременного постыдного возбуждения, или что это такое было, когда он мне, негодяй, анус ласкал своими пальцами, красивыми и длинными... От всей этой слишком быстрой смены острых ощущений, ну да, видимо, и от боли тоже, провалилась я в обморок.

Очнулась: чувствую опять на себе его пальцы. Нежно так, осторожно касаются кожи на ягодицах, на спине, на ляжках. Сидит Рустам на кровати и гладит меня. Потом кончиком языка стал меня трогать, ласково, почти невесомо, а все равно выходило болезненно, потому что там, на ягодицах, живого места не было. И он точно угадал мои мысли, говорит, опять шепотом почему-то: «Как же я тебя исполосовал. Ужас!»

А я говорю: «Ай мэ оы, уоаю». И ты знаешь, впервые он меня понял. Уж даже не знаю, каким образом. Но понял. Говорит: «Сейчас, сейчас, воды тебе дам. У тебя, наверно, обезвоживание». А я от благодарности – что не убил, что не искалечил по-настоящему и вот теперь о водном балансе моем заботится, вдруг заплакала и говорю: «А юю еа уам». Этого он, к счастью, не понял. Если бы понял, мне бы так стыдно было, что я, наверно, умерла бы. Что это значило? Ты не поверишь, Нинка. Я пыталась сказать: «Я люблю тебя, Рустам». Удивляешься? Спятила, говоришь? Ну конечно, спятила, «затемненное сознание» называется. Но главное, я очень радовалась, что он не понял. Хотя, может быть, и догадался. Или, по крайней мере, заподозрил что-то.

3

– Что, винца еще захотелось? То-то же! А говорила: я только рюмочку... Давай, давай, я вторую бутылку открою... Даже слушать страшно, скажи? А уж вспоминать...

Где они меня держали? Нет, ни в какой не Чечне. Близко меня там не было. Ну, подумай сама, зачем же им было так рисковать, везти меня через всю страну? Нет, это какая-то дача была подмосковная. Комната без окон – то есть окошко раньше было, но они его потом замуровали. И стены покрыли звукопоглощающими материалами. Типа – войлоком каким-то, что ли? Сказали: можешь кричать сколько угодно, никто и никогда тебя не услышит! Я спрашиваю: неужели так ради меня старались? Они говорят: да нет, помещение давно используется для соответствующих целей. До тебя тут несколько крупных деятелей содержалось. Одному мы голову отрубили. Нет, рубили не здесь. Кровищу отмывать кому охота... В лес возили рубить, тут, неподалеку. И тебя отвезем, если что. Если ты вести себя неправильно будешь. Тем более что ты ничего такого больше собой не представляешь, чтобы с тобой так уж цацкаться, если теперь родитель твой никакой не президент Академии наук, а так, непонятно кто. Так что веди себя правильно.

Это мне все говорил не Рустам, а Вагон Уродов... Не может быть такого имени? Вообще-то, конечно, не может. Это я ему про себя такую кличку дала. Урод Вагонов. Или наоборот. Отвращение свое я так внутри себя ему демонстрировала. Один раз, правда, проговорила, сорвалось с языка. Ровно на следующий день после тех потрясений кошмарных это случилось. Ладно, что сидеть не могла или на спине лежать, но еще и в голове сплошь какой-то гул стоял. Совершенно не в себе была. И вот вдруг очнулась, не разобралась до конца, наяву это уже или еще во сне. И вижу склонившееся надо мной мерзкое лицо. Ну и вырвалось... «Вагон», – говорю. Это я к нему обратиться хотела по-человечески, пожаловаться на Рустама. Я же не знала тогда, что экзекуция накануне была санкционирована высшим начальством, в качестве временного паллиатива смертоубийству. И что Рустам еще пожалел меня слегка: вместо предполагавшегося кнута плетеного использовал всего-навсего брючный ремень. И бил не до крови, кожу не порвал... Так, ерунда, детское наказание. Но я-то всего этого не знала. И вот захотела излить душу. Поябедничать. Хорошо, хоть Уродовым не назвала. Я его так ненавидела, Керима этого, что он казался мне не просто чудищем, а кошмарным суперуродом, целым вагоном каких-то монстров. Противнейший тип, низкорослый, длинноносый, с глазами странными... Взгляд такой... царапающий. Вперитя иногда в меня, не по себе делается. Не могла никак понять: то ли изнасиловать меня хочет, то ли на самом деле отрубить что-нибудь? Никакого гнева, никакого пристрастия, совершенно хладнокровный убивец.

На остальных как-то и не похож... И что характерно, разговаривал Вагон Уродов с бойцами, да даже и с самим Рустамом, по-русски! Такое впечатление, что не знал ни слова по-чеченски. Одно это уже о чем-то говорило, разве нет? При чем был он у них чем-то вроде комиссара, и через него поддерживалась связь с главарями – старейшинами, или кто они там. Якобы в Чечне. Почему якобы? А потому, что я ни в чем уже не была уверена, не знала, с кем имею дело. Может, и ненастоящие они были, чеченцы-то.

Но страх был всамделишный, потому что убить они запросто могли. В глазах у них это читалось.

Так вот, Вагон Уродов был комиссаром при Рустаме-командире. Рустам его ненавидел. Так ему смотрел в спину, сразу было понятно. Убил бы, если бы мог. Не сомневаюсь. Но прятал глаза и не перечил, когда тот вмешивался.

И вот такому типу, такому Кериму, я сдуру собралась жаловаться.

– Вагон, – вежливо обращаюсь я к нему.

Он удивился, говорит:

– Что? Какой еще вагон? Или ты бредишь, женщина?

Но тут я, слава богу, опомнилась, говорю:

– Да не в себе я... Плохо мне что-то... Привиделось в бреду, что еду в Сочи в вагоне СВ.

– СВ это что? – спрашивает. Все-то ему знать надо...

Ну, пришлось объяснить коротко, что это такие вагоны, в которых купе только на двоих. У буржуазии это называется «первый класс». Но у нас же равенство, а потому названий таких быть не может. Поэтому – СВ. И расшифровывается загадочно: спальный вагон. Как будто плацкартный и тем более купейный не для сна предназначен. Но посвященные знают, что к чему.

– Надо же, – говорит Вагон. – Чего только ваши номенклатурщики кагэбэшные не придумают в целях введения в заблуждение народных масс.

И хоть прав он был отчасти, но – чья бы корова мычала! Вагонетка вонючая. Хотела я его оскорбить как-нибудь, но передумала. Но и про Рустама ябедничать тоже расхотелось. А то хороша бы я была.

– По-моему, слабовато тебя наказали, – говорит Вагон. – Ты должна бы сейчас лежать в полубессознательном состоянии, стонать и бредить, а не сны про номенклатурные удовольствия видеть. Надо бы поговорить с Рустамом, чтобы не халтурил. Или поручил бы еще кому-нибудь, кто кнут в руках держать умеет. Он тебе такую поездку в Сочи выписал бы... А то видали, кусается она, травмы бойцам наносит... Такое с рук сходить не должно.

И кулаком потряс для ясности.

Потом день пошел за днем. Я сбилась со счета. В книгах и фильмах всякие графы Монте-Кристо и узники Тауэра зарубки делали, чтобы следить за течением времени. Но на этой чертовой даче зарубить могли разве что человека, то есть меня. Ни ручки, ни карандаша у меня не было, а тем более ножа или камня. Попробовала я было узелки на носовом платке делать, но платок скоро кончился. Я попросила новый. Но Шамиль, помощник Рустама по всяким хозяйственным делам, не поверил мне, когда я сказала, что старый потеряла. Он покачал головой и сказал, что в следующий раз выдаст новый платок только в обмен на старый, и осталась я без хронометра.

Меня даже на улицу не выпускали, приходилось кое-как зарядку делать в комнате. А на ночь натягивали на меня упряжь какую-то, которую завязывали все туже, с боку на бок с трудом могла повернуться на кровати. «Сколько это будет продолжаться?» – спрашивала я у комиссара Вагона, он же Керим. «Сколько надо, столько и будет, – отвечал он важно. – Это от отца твоего зависит в первую очередь». – «А чего вы от него хотите, денег?» – спрашивала я. «И денег тоже», – загадочно говорил Вагон.

Потом, когда синяки на попе зажали слегка и я сидеть опять смогла, они притащили камеру – послание снимать городу и миру, отцу и властям предержавшим. Я свидетельствовала, что жива, что со мной обращаются «нормально». Но так это слово произносила, так в последнюю секунду стреляла в камеру глазами, что Фазер уж точно должен был догадаться, что дела мои хреновые. Но и слишком пугать я его не хотела.

«Финтишь. Финтишь все. Ну, дофинтишься», – говорил Вагон Уродов, глядя на меня своими колючими зенками.

Потом пыталась я считать порки. Вроде они происходили раз в неделю. Все же Рустам отстоял свое право самому меня наказывать – как пострадавшей стороне.

И вот что интересно: с каждым разом экзекуции становились все менее болезненными, а ласки перед ними – все более интенсивными. Видеть орудия наказания я не могла, он по-прежнему укладывал меня вниз лицом и привязывал к изголовью кровати, но создавалось впечатление, что Рустам поменял ремень на более широкий и легкий. Кажется, он был сделан из искусственной, довольно мягкой кожи. При ударе по голому телу он издавал громкий, пугающий хлопок, но на самом деле было почти совсем не больно. Первый раз я удивилась и услышала громкий шепот над головой: «Эй, кричать не забывай». И стала я орать исправно, чтобы доставить удовольствие Вагону и его уродам. По-моему, у меня вполне недурно получалось.

Вскоре я так увлеклась этим представлением, такие залиvistые стоны и хрипы научилась изображать, что Рустам стал давать слабину. По неверным ударам я чувствовала, что он беззвучно смеется. Иногда даже пропускал удары и опускался, кажется, на колени, прижимаясь лицом к кровати: боялся, что не выдержит и расхохочется в голос.

Шептал: «Ну, ты и артистка... Нельзя ли чуть менее художественно?»

А в другой раз сказал: «Ты просто какой-то Олег Попов в юбке... вернее, без юбки. И даже без трусов». Я дернула попку негодующе: хотела дать ему понять, что не следует в такие моменты разговаривать: слишком рискованно. Сама-то я на провокации не поддавалась, молчала, как партизан.

Что, Ниночка, что с тобой? Неужели? Возбуждать тебя эти разговоры стали? Ну вот и со мной в реальности тоже стало что-то в этом роде происходить.

Однажды Рустам плохо, халтурно затянул узел у меня на затылке. Я виду не подала, но в разгар педагогической процедуры повернула голову влево, скосила глаза и увидела его лицо. И даже испугалась, такое на нем было болезненно-сладострастное выражение, глаза горели каким-то просто сатанинским огнем, а может, это свет фонарика так странно в них отражался. Он, не отрываясь, смотрел на мои ягодицы, и его большущий кадык ходил взад и вперед. Тут ведь вот какое дело: женщин у него очень давно не было. Рискованный эксперимент над сильным молодым организмом, переполненным до краев тестостероном так, что чуть ли не наружу выплескивался. А тут я, не совсем лишенная привлекательности молодая женщина, пышечка, как на Востоке любят... Попка у меня действительно была хороша, что называется – для любителей жанра. Ну, не мне судить.

Но вот она, значит, попка такая нежная, девичья, в его полной власти. Обнаженная, под удары ремня положенная. Это уже и не настоящая порка, не наказание, а игра. И игра все более откровенно эротическая. И вот в ту ночь он, похоже, слегка потерял контроль над собой, размахнулся и ударил изо всех сил богатырских. Так что даже эта его клеенка саданула по ягодице чувствительно. Я неподдельно вскрикнула. Он как будто испугался, нагнулся ко мне и зашептал: «Извини, извини, это случайность...» И знаешь, что я тогда сделала? Нет, не угадала. Не стала я его больше кусать, хотя на секунду такая мысль мелькнула, не скрою. Но к тому времени до меня стало доходить, какая возможность, кажется, открывается. Можно оседлать ситуацию, подчинить ее своему контролю. Ведь ты вдумайся: если изувеченный тобой мужик в такой момент, лупя тебя по голой заднице ремнем, вдруг извиняется за причиненную боль, кстати, не такую уж и невыносимую. О чем это говорит? Это значит, что мужик полон нежности, он ласкать тебя мечтает, а не бить... Ты не согласна? А, просто судить не берешься. В ситуации, говоришь, такой не была... И мужики тебе, наверно, не те попадались.

В общем, по холодному расчету в основном, но и потакая некоему пробудившемуся любопытству... Догадываешься уже, что я сделала? Примерно?

Так вот: я сказала нежно, с придыханием: «Рустам...»

Он от неожиданности и восторга даже ремень на пол уронил и, что называется, припал ко мне. Шепчет в затылок: «Что, что ты хочешь мне сказать?» Я одними губами, ели слышно, ответила: «Приходи ко мне ночью попозже. Без ремня».

Он отшатнулся. Задышал тяжело. Поднял ремень с пола. Стеганул меня еще пару раз на прощание – но что это были за удары? Я вскрикнула для видимости. Вернее, для слышимости. Он снова нагнулся. Шепнул: «Приду». А я кричала опять, чтобы заглушить его шепот.

И вспоминала миледи. Ты ведь читала «Трех мушкетеров»? Я же тебе давала в восьмом классе! Неужели так и не прочла? А зачем наврала тогда? Ну ладно, вот теперь возьми и прочитай. Главу про миледи и ее неподкупного тюремщика-пуританина Джона Фелтона прочти. Ничто вообще не ново под луной. Все когда-нибудь уже бывало и писателями описано.

4

Больше всего я боялась, что скрип проклятой двери нас выдаст. Но она совсем не скрипела на этот раз. Так что я чуть приход Рустама не проспала.

Я же не знала, не ведала, что он добыл где-то масла машинного и плеснул на петли, пока никто не видел. Это очень мудро было с его стороны и предусмотрительно. Но вся предусмотрительность на этом и кончилась. Он говорил потом, что никогда не мог себе представить, что масленка может вызывать такие эмоции, так возбуждать. Что когда он на нее смотрел и когда масло лил, то видел ясно-ясно, для чего он это делает. Что за этим последует. В деталях, ярко себе представляемых.

Вообще, у него слишком было воображение развито для боевика и полевого командира. Впрочем, выяснилось, что он был актером по специальности, чеченскую студию ГИТИСа в Москве оканчивал, потом в Грозном в драмтеатре работал. Главные роли играл – героев-любовников, понятное дело. Протягивал руку к балкону, на котором стояла Джульетта, и мусульманские девушки в зале рыдали. Ну а потом пришло время очередной чеченской трагедии, сколько их было за последние два века... Потерял он и жену, и детей, и родителей. Всех погубили федералы. Так он, по крайней мере, считал. Да и театра, как такового, не осталось, даже здание сгорело. И вся жизнь сгорела дотла. С тех пор он и не жил уже. Мстил. Кроме этой голой мести, в ожидании физической смерти тела, ничего не осталось. Так он думал. Пока не встретил меня. После чего в душе, мертвой, что-то неожиданно зашевелилось. Не говоря о теле. Там уж такое шевеление пошло...

Вот, говорил он мне потом, чуть, на масленку глядя, не кончил...

Что было в ту первую ночь? Ох, Нинка, любопытство тебя мучит. Ну, ладно, слушай. Да не пей залпом, это же не водка, а мускат «Белого Камня»... Так вот, наверно, было уже часа два ночи или что-то в этом роде. Часовой за дверью моей комнаты храпел так, что стены тряслись... Как потом выяснилось, это Рустам его самогоном напоил, да еще и снотворного ему туда сыпанул... И все равно, авантюра это была отчаянная. Я-то, когда его звала, не подозревала даже, что прямо за дверью пост круглосуточный... А то бы никогда не решилась. Но Рустама, видно, уже ничто остановить не могло. Всякое благоразумие утратил.

Ну вот, дверь не скрипела, из-за нее доносился залиvistый храп, и я уже тоже погрузилась в полудрему, не надеясь дожидаться событий, как вдруг проснулась от ощущения: в комнате кто-то есть. И продвигается ко мне. Бесшумно. Ну, почти. Какие-то звуки я все-таки улавливала, чувствовала, что человек все ближе и ближе. К кровати подбирается. Я приподнялась, насколько шнур позволял. Всмотривалась во тьму мучительно, но разобрать ничего не могла. Кровь в висках стучала. Страшно... Гадаю, кто это? Рустам, идущий за любовью, или Урод Вагонов – за жизнью моей? А может быть, кто-то третий, не выдержавший долгого полового воздержания? Изнасилует сейчас во все дырки и задушит? А что, вполне правдоподобно... Я такие взгляды этой братвы боевой на себе ловила, что мороз по коже бегал... А сейчас – меня от страха и напряжения озноб колотил...

И тут – о, слава, слава Аллаху! – чувствую прикосновение знакомых длинных пальцев – они ласкают меня, глядят лицо, губы, шею. Знаешь, такое это было облегчение! Я еле сдержалась, чтобы не вскрикнуть радостно. Не заржать, как лошадь при виде хозяина... Но не то что кричать, а и разговаривать было неблагоприятно. Разве что тихим-тихим шепотом...

И вот тогда-то он и прошептал это слово, это имя впервые. Будто ветер прошелестел мимо уха: «Шурочка...»

Ты же знаешь, как я ненавидела всю жизнь эту форму своего имени. Как я орала в таких случаях: «Какая я вам к хренам Шурочка? Меня зовут Александра. Для близких – Саша, для любимых – Сашенька... А с этой самой фабрично-заводской Шурочкой – это вы адресом

ошиблись, здесь таких не водится». Тебе, я, если правильно помню, за Шуру в отроческие года вообще по физии досталось? Туфлю в тебя, кажется, запустила? Ну прости меня, чего уж теперь... И потом, много лет спустя, в десятом классе, кажется, ты еще однажды меня так назвала, назло, нарочно, обидеть норовила, когда мы поссорились и ты разозлилась из-за платья того дурацкого... которое я еще узбекским халатом обозвала... И я драться с тобой полезла, за Шурочку-то, еле нас разняли, помнишь? А, ну да, такое не забывается...

И вот представь себе в ту ночь... Сначала я вознегодовать хотела. Сказать: «Не смей! Никогда больше так меня не называй, откуда ты только ее взял, Шурочку эту дурацкую...» Но сама себя тут же остановила. Не надо же разговаривать! Тем более по такому поводу несерьезному. Потерпеть, что ли, нельзя? Разве это важно, в такой-то ситуации. Решила: ладно, черт с ним, не буду исправлять... потерплю и «Шурочку» – и не такое уже от него терпела, в конце-то концов... Ну, Шурочка... Да хоть клуша. Хоть буренушка. Хоть беременная курица. Хоть горшком назови, только в печь не станови... Да все что угодно – ну, кроме анала, может быть.

Но тут он вдруг мои губы нашел. В темноте я не видела ничего, а потому глаза закрыла и стала вспоминать. Как *его* губы выглядят. А я уже говорила: выглядят они замечательно. Незабываемо. Что-то в них есть совершенно особенное. В том, как они очерчены. Как их Бог красиво нарисовал. И вот так я целовалась, закрыв глаза и в тьме кромешной представляя его чудесный рот внутренним зрением. А оно ведь, знаешь, самое зоркое. И вот эти губы его волшебные вдруг стали мои, совсем мои. И ничьи больше. Ты же знаешь все про меня, что я терпеть не могла целоваться. Говорила: чужая слюна! Как негигиенично! Пломбы чужие языком пересчитывать. Фу! А тут... впервые испытывала от поцелуя острое наслаждение... Как будто опьянела, только лучше, легче, звонче, чем от алкоголя. А он губы мои бросил вдруг. Я чуть не закричала: «Нет, нет, еще!» Еле сдержалась. Но тут он стал меня в шею целовать, потом в плечи, в лопатку. Целует – и приговаривает шепотом едва слышно: «Это Шурочка, это ее лопаточка... самая в мире красивая... самая удивительная... Шурочка, Шурочка моя...» – шепчет ласково, лепет такой прекрасный... И опять за свое: Шурочка да Шурочка... И вдруг что-то случилось... мне стало нравиться! Наверно, потому, что все это происходило после очередного адреналинового шока, после страха и ужаса. А он так трепетно шептал, так шуршал загадочно и мило: «Шурочка...» У него получалось как-то... необыкновенно. В этих звуках шепелявых столько всего было: и радости, и грусти с тоской вместе и нежности бесстрашной, отчаянной и чего-то еще, чему и названия-то нет и быть не может. Не буду громких слов произносить... Да нет, я не плачу, это тебе показалось. Ты же знаешь, я не плачу никогда, разве что от злости. Сейчас, дай мускатику выпить... Да, вот так вдруг получилось, что не стало для меня прекрасней этого имени. Не веришь? Да я и сама себе не верю... до сих пор.

Тебе еще подробности нужны? Ты уверена? А может быть, не надо, а? Ну раз ты так настаиваешь...

Вдруг я в темноте почувствовала... вообще с той минуты я начала его так точно чувствовать, как будто стала им чуть-чуть... а может, и не чуть-чуть... В общем, вдруг ощутила физически, что он уже на пределе – и в смысле чисто физиологическом, и нервном... Поняла, что нужна разрядка – немедленная, просто в эту же секунду. И я зашептала: «Ну, давай уже! Давай!!» И он меня понял, конечно, но у него ни черта в темноте не получалось, разумеется. И вот, представляешь, тогда я взяла его за... Да, да! Не веришь? Чтобы Сашенька рукой мужской агрегат взяла – представить себе невозможно. И я до той секунды даже не могла о таком подумать без отвращения. Но вот что со мной там произошло. И он у него такой оказался... мощный! Широкий и твердый, будто стальной. Но очень теплый, даже горячий. И стала я его прилаживать куда надо... Рустам дернулся один раз, другой, судорога будто по

нему пробежала, и все. И я догадалась, что надо ему рот ладонью зажать, но все равно успел он какой-то звук хрипло-восторженный издать...

И лежали мы с ним потом обнявшись, прижавшись друг к другу в полной тишине и ждали. Гадали, разбудили мы кого-нибудь или нет. Прибегут ли боевые товарищи, щелкая затворами...

Но нет, не прибежали. Часовой за дверью захлебнулся на секунду своим храпом, замолчал. Мы напряглись оба, впились друг в дружку пальцами... Но нет, часовой всхлипнул, поклокотал гортанно, будто горло полоскал, и снова запустил свои трели...

«Шурочка, – прошептал Рустам, – я буду любить тебя всегда!»

А я ничего не ответила. Лежала и конфузилась. Переживала. Потому что вспомнила, что я опутана вся этими шнурами идиотскими. И мало того: трусы не успела снять. Так что он вошел внутрь меня прямо вместе с куском ткани. И даже не заметил этого. Хорошо, что в темноте нельзя было разглядеть, как я покраснела. Лежала в темноте пунцовая, как свежесваренный рак. Вот ведь какой был стыд.

Нет, Нин, на этом все вовсе не кончилось. Наоборот, все только еще начиналось.

Когда мы оба успокоились, он первым делом сказал: «Прости, что я так... быстро!» Я ничего не отвечала, только сжала его руку: не волнуйся, ничего страшного, я все понимаю. Но на самом деле я сама в себе вовсе не была уверена, мне в пору было самой у него прощения просить, ведь позвала я его заниматься любовью, хотя знала об этом деле крайне мало. Ты же помнишь, ну был у меня веселый и жизнерадостный Сережка Скворцов, который пытался заниматься моим образованием, но не все его уроки впрок пошли. Потом еще академик Верницкий что-то такое пытался, пальцами в основном, ой, об этом и вспоминать неприятно... И вот теперь лежала я в некотором замешательстве, никак не могла понять, что делать: то ли попросить Рустама уйти и оставить меня в покое, то ли признаться в невежестве, в неполноценности своей, попросить не судить строго... и научить наконец непонятному искусству любви.

Он гладил меня по затылку, потом руки его побежали по шее, по груди... «Сбрую сними с меня», – прошептала я. «Ох, да, извини! Как я мог забыть!» Он стал ловко развязывать эти шнуры дурацкие, а по пути будто случайно натыкался то на руки мои, то на коленки, то на живот. Вот-вот до бедер должен был добраться и до прочего. А мне надо было успеть, ну ты знаешь что... Что-что, ну трусы с себя стащить, неужели не понятно! Надо было это сделать так ловко, так незаметно, чтобы он ни о чем не догадался. Наконец я выбрала момент, и рраз! Но, как назло, именно в эту секунду он направил свои пальцы, свою изучающую экспедицию в тот самый район... Руки наши столкнулись... Он на секунду застыл в недоумении. Пытался понять, в чем смысл моих движений странных... Но потом сдался. Потому что представить, что на самом деле произошло, он не мог. Воображения не хватило. После секундного замешательства решил он, видно, забыть и наплевать. Какая, в конце концов, разница... Он, видимо, из тех мужчин был, что не любят загадок, которые им не удается разрешить...

Он с удвоенной энергией ринулся изучать меня. Методично целовал везде, покрыл всю поцелуями, ни одного сантиметра не пропустил. Ну и возбуждаться стал снова. Я тоже стала робко его гладить, ласкать, надеясь до губ добраться. И вдруг натолкнулась на Инструмент! О-о, ну и здоровый он опять сделался. Твердый, просто железный. Тут на меня целая гамма чувств нахлынула. Слегка испугалась сначала – все-таки такую штуковину в себя впускать страшно. Потом вдруг что-то во мне переключилось... Будто поначалу была одна я, а в следующую секунду стала уже я какая-то другая. Сильно другая. Мне... вроде как... не уверена, что подбираю правильные слова... ну, в общем, понравилось бояться! Вдруг меня в жар бросило. Страшно, боязно, жутко – до такой степени, что в груди екает. Сладко замирает. Какое-то дрожание внутри началось. Покатилось по мне от пяток до желудка. До гланд в

горле. Вдруг дышать стало невозможно, и... думая только об одном, только об одном, как бы не закричать, как бы не завопить, не заверещать нечеловеческим голосом, я точно кинжалом себя проткнула. И взмыла куда-то высоко-высоко... сквозь крышу и дальше... сквозь черное беззвездное небо. Как будто обжигает внутри – и больно и сладко.

А он все шепчет: «Шурочка, Шурочка, ты самая красивая на свете. Твои глаза самые красивые... твои бархатные пещерки». И от его шепота, от его жарких слов, от этой «Шурочки» волшебной что-то такое во мне происходило... не знаю, как описать... Ну вот иногда невыносимый чих приближается, катится откуда-то изнутри, набирая силу. Свербит все сильнее и сильнее, так, что всю тебя как будто приподнимает и выворачивает, вот-вот разорвет на части – и, наконец аа-ап-чхи! Разрядка, облегчение неопишное. Во всем теле и, кажется, в душе тоже. В чем-то здесь схожее ощущение, только сильнее, и невыносимей, и слаще. И в конце точно рассыпалась я на тысячи огней, как комета, как метеорит, и рухнула вниз, как падают с пятидесятого этажа в оторвавшемся лифте... с ускорением чудовищным, сжимающим все внутренности... рухнула в тьму-тьмущую, в которой дышать нечем, но я дышала, да-да, дышала непонятно чем, каким-то антивеществом, наверно, которое заполнило мои легкие и живот чем-то пушистым и мягким. О-о-о!!

Не закричала, ура. А Он – во мне. Глубоко-глубоко. Как стыдно – и как замечательно. Такой... Он невозможный. Невыносимый. Огромный – заполнил меня всю без остатка. Во мне ничего больше не осталось. Только сердце – вон оно как стучит! – и Он.

Ох-ххо...

Вот тебе и Шурочка...

Вдох и выдох. И глубокий вдох.

За-тме-ни-е.

5

Рассказываю я это все, увлеклась, разбушевалась, забыла про слушательницу. Неважно: я ведь самой себе рассказывала. Надо было, видно, выговориться вслух. Изложить версию событий. А может, это все в точности так и было, как я рассказывала. Ведь любая правда – это всегда на самом деле лишь версия. Одна из.

Увлечшись, потеряла я Нинку из виду, не следила, что с ней происходит. Но тут понадобилось мне прерваться, в туалет сходить, возвращаясь, вижу: что-то странное с ней случилось. Вроде как выражение изумления и некоторого недоверия, этого «ах, не может быть, неужели?!» сменилось на нечто другое, мне незнакомое. Типа: легкое презрение, что ли. Может быть, даже с элементом холодной насмешливости. Я стояла как громом пораженная, смотрела на нее и глазам не верила: разве это моя Нинка, легкомысленная и легковерная подруга, с которой мы вместе в один детский сад ходили, а потом в школе много лет за одной партой восседали? Оруженосец, санча панса моя недалекая, но преданная, всепрощающая? Нет, это какая-то незнакомая мне, новая женщина, очень неприятная...

– Ну так, что там с Ливаном твоим и Стокгольмом тоже? – бесцеремонно спрашивает Нинка. – Пока все про секс с элементами легких извращений... Такие синдромы... нимфоманские, типа... А про стокгольмский ни слова...

Я даже растерялась. Говорю:

– Извини, что я на тебя вылила все это... Но ты сама хотела подробностей... Без которых, наверно, непонятно было бы то, что дальше произошло.

– Так что дальше-то? Давай, не томи, подруга...

– Ну а дальше... для меня весь мир сузился до одного человека. До Рустама, как ты догадываешься. Ни отца, ни матери больше для меня не существовало, ни Москвы, ни России. Все они стали смутными далекими абстракциями. Забыла я напрочь, как только что

собиралась страсть Рустама использовать, ловко манипулировать им, чтобы освободиться и домой вернуться. Теперь, наоборот, он со мной мог делать что хотел. Только ночи для меня имели значение, когда Рустам приходил, и мы занимались любовью почти до самого утра, и я взмывала в небеса, а потом падала вместе с небом вниз, в сладкие волшебные бездны, на куски разлетаясь.

По ходу дела, в качестве производного от этих занятий, прониклась я делом чеченской независимости. Ух, прониклась. При том что почти ничего о нем не знала. Правда, Рустам просвещал. Лекции читал. И я готова была за дело это воевать. Даже жизнь отдать. Не поверишь: собиралась участвовать в какой-то акции, заложников, что ли, брать... Ну теперь-то я понимаю, что убивать и умирать собиралась за Рустама, за пальцы его, за губы, ну и за остальное, такое замечательное, тоже... А так... Сказал бы он, что главное в жизни – это судьбы американских индейцев или медведей гризли, я бы, наверно, с тем же рвением и за них сражалась... Названия и лозунги могли быть любые. Слава богу, хоть акция с заложниками сорвалась. А то наделала бы я дел... Рустам ведь меня стрелять научил здорово. Да-да, не делай круглые глаза. Мне и самой теперь-то все это дико и непонятно... Как я могла... Но тогда – полное помрачение...

Тогда казалось, что я прониклась именно делом чеченского народа и ненавидела его гонителей и угнетателей. И глаза бы выцарапала каждому, кто поставил бы под сомнение мою искренность, мою веру в справедливость, в право чеченцев на самоопределение. Собственно, чуть и не выцарапала... одному...

– Небось этому, как его... Вагону юродивому?

– Как ты догадалась?

Я посмотрела внимательно на Нинку, и она взгляда не отвела, дерзкого и насмешливого.

Помолчали мы обе, вина глотнули. Потом Нинка спрашивает:

– И как же ты, подруга, за чеченскую свободу-то боролась – привязанной к кровати, что ли?

– Ну нет, конечно! Следующей ночью после той, первой... я ждала, что Рустам придет опять. Но он не пришел. А я... как идиотка всю ночь в темноту всматривалась и в тишину вслушивалась... ничего не увидела, ничего не услышала... под утро изнемогла и провалилась... и видела сны отвратительные, в которых кто-то кричал все время...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.